

Борис Емельянов



ПАМЯТНЫЕ  
СТРАНИЦЫ  
ЖИЗНИ

Борис Емельянов

**Памятные страницы жизни**

«Издательские решения»

**Емельянов Б. М.**

Памятные страницы жизни / Б. М. Емельянов — «Издательские решения»,

Книга — воспоминания автора, своего рода калейдоскоп наиболее памятных событий из его жизни с детских до студенческих лет. Читатели из поколения, к которому принадлежит автор, обнаружат много общего с их собственной жизнью, а более молодые будут невольно сопереживать нетривиальным поступкам, радостям и невзгодам, выпавшим на долю их сверстника из 40—50-х гг. XX столетия. Книга написана искренне, ясным литературным языком, читается легко и увлекает с первых страниц.

© Емельянов Б. М.

© Издательские решения

## Содержание

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Предисловие                                              | 6  |
| Глава 1. О родителях и их родственниках                  | 7  |
| Глава 2. Из раннего детства                              | 14 |
| Глава 3. Эвакуация: Сталинград – Барнаул – Свердловск    | 19 |
| Глава 4. Снова в Сталинграде                             | 26 |
| Глава 5. Семья Антоненко и соседи по бараку. Смерть отца | 30 |
| Глава 6. Игры и забавы                                   | 37 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                        | 40 |

# **Памятные страницы жизни**

## **Борис Михайлович Емельянов**

© Борис Михайлович Емельянов, 2016

© Иван Григорьевич Антощенко, дизайн обложки, 2016

ISBN 978-5-4474-9502-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Предисловие

Написать воспоминания о моей жизни попросили меня почти одновременно оба моих сына ещё в 2001 году, но желания сесть за стол эта идея тогда не вызвала. На такое настроение влияла, прежде всего, загруженность основной работой, но были и другие причины. Я понимал, что жанр воспоминаний, когда в одном лице соединяются и автор, и главный герой, лишь на первый взгляд кажется простым. Особенно сложно раскрывать что-то сокровенное, личное, также как и описывать поступки, оставившие неприятный след в душе. Из прочитанных мемуарных произведений я знал, что быть до конца искренним, «представить» себя таким, каким ты был на самом деле, невозможно. Человек, пишущий о себе, не может не отличаться от того, кого он изображает: создаваемый им образ получается обычно более привлекательным, как бы он ни стремился к полной объективности. Очень не просто «воскресить» и время, в котором довелось жить, происходившие в те или иные периоды жизни события: хотя ты и опираешься на хорошо известные тебе факты, но рассказываешь о них так, как они отложились в твоей душе, и другие люди поведали бы о них как-то иначе.

Прошло около двух лет после завершения трудовой деятельности (2007 год), когда я решил, наконец, откликнуться на просьбу сыновей, обзавёлся компьютером и приступил к делу, стараясь сосредоточиться только на том, что оставило в моей жизни наиболее заметный след.

Буду рад, если рассказанное мною вызовет у кого-то желание вспомнить что-то и из собственного пройденного пути. Ведь, несмотря на различия в судьбах, переживаемые людьми земные радости и невзгоды по сути своей имеют одну и ту же природу. Вместе с тем человек – это целый мир, познать который до конца не может никто – даже он сам: тем интереснее подумать о том, как ты распорядился неожиданно дарованной тебе жизнью, какой след оставил на земле. Поэтому, предназначая свой рассказ для других, я невольно удовлетворял и собственный интерес.

## Глава 1. О родителях и их родственниках

История знакомства моих будущих родителей мне неизвестна: мать об этом не рассказывала, а сблизиться по-настоящему с отцом я не успел. Он был целыми днями на работе, а с началом войны мы встречались ещё реже. И всё же он оставил в моей душе заметный след, передал мне, скорее всего сам того не сознавая, что-то очень важное для меня, без чего моя жизнь могла бы сложиться иначе.

Мама крайне редко рассказывала об отце. Ещё меньше я знал о его матери, Елизавете Васильевне, а об его отце, т.е. моём дедушке, не слышал вообще ничего. Виноват в этом и я сам, так как даже и в зрелые годы не проявлял особого интереса к своим родовым корням. Но случилось так, что в конце 1991 года заинтересовался своими предками мой старший сын Сергей, служивший в то время в глухом казахстанском посёлке Чаган. Обратившись в Ленинград, к Марине – дочери моей двоюродной сестры Светланы по отцовской линии, у которых Сергей как-то был в гостях, он получил некоторые сведения, поведанные бабушкой Марины Зинаидой Сергеевной – родной сестрой моего отца. Кроме того, отдельные документы и записи, связанные с отцом, сохранились, как оказалось, у моей матери, что в совокупности позволило узнать неизвестные мне ранее подробности.

Отец мой, Михаил Сергеевич Емельянов, по национальности русский, появился на свет 20 ноября 1914 года. Из сохранившегося документа – повторного свидетельства о его рождении (зарегистрированного 5 сентября 1939 года взамен утерянного) – следует, что отец родился в деревне Екатериновка Курской области (в то время – губернии). На оттиске печати, удостоверявшей документ, видно, что он выдан Марьинским сельсоветом Октябрьского района. По некоторым сведениям половина жителей Екатериновки носила фамилию Емельяновых, а другая – Базаровых. Фактически же отец мог родиться не в самой Екатериновке, а поблизости от неё – на хуторе, где жили его родители.

Марина прислала Серёже копию фотографии родителей моего отца, т.е. моих дедушки и бабушки – Сергея Григорьевича (по-видимому, 1883 года рождения) и Елизаветы Васильевны Емельяновых. На фотографии Елизавета Васильевна, родившаяся 17 апреля 1883 г. в селе Герасимово, недалеко от Старого Оскола (девичья фамилия Чунихина), по социальному положению мещанка, облачена в довольно богатое платье, а Сергей Григорьевич – во фраке, в белой рубашке с галстуком – стоит, положив руку на плечо супруги. У него густая чёрная шевелюра и усы: по мнению моего сына Сергея, он похож на нас с ним.

Предки имели около 100 десятин земли (сдаваемой обычно в аренду) с рошей, усадьбу с добротным домом, мельницу, а также двух лошадей и псарню гончих. Большинство работ по хозяйству выполняли сами. За лошадьми смотрел единственный их работник, очень преданный семье Емельяновых, конюх Николай: он был сиротой и жил при усадьбе. Для уборки хлеба и заготовки сена нанимались крестьяне из Екатериновки.

Из письма Светланы, которую я попросил рассказать обо всём, что ей известно о моих дедушке и бабушке, я узнал, что они очень любили друг друга. Бабушка была из состоятельной семьи, а дед – из бедной, и её не хотели отдавать за него замуж. Елизавета грозила убежать из дому, и родители уступили. Дедушка мой был очень красивым молодым человеком, а бабушка, как написала Света, – «светская дама». Оба могли изъясняться по-французски.

Бабушка с дедушкой имели троих детей: Александра (1907 г.р.), Зинаиду (1908) и Михаила (1914). Сами они происходили из многодетных семей: у дедушки было две сестры и три брата, а у бабушки – три брата (Аркадий, Василий и Гавриил) и четыре сестры (Нина, Маша, Александра; имя ещё одной сестры установить не удалось). Интересно, что

обе сестры Сергея Григорьевича – Анастасия и Маша – вышли замуж за двоюродных братьев его супруги – Елизаветы Васильевны.

Когда началась борьба с кулаками, дедушка Серёжа и бабушка Лиза намеревались уехать с семьёй во Францию, где жили двоюродные братья Елизаветы Васильевны, но не успели из-за последовавших вскоре трагических событий.

Как рассказывала тётя Зина, жители села относились к Сергею Григорьевичу с большим уважением, и когда узнали о предстоящем его раскулачивании, никто из крестьян официального согласия на это не дал. И всё-таки через некоторое время нашлись люди, которые сумели его «подставить» и упечь в тюрьму. По некоторым сведениям (на них ссылалась моя мама в своих записях) его обвинили в смерти заболевшей жены одного из крестьян, которому Сергей Григорьевич, якобы, не сразу выделил подводу для отправки больной в город, где она через несколько дней умерла. Вскоре в одну из ночей усадьбу полностью разорили (бабушка Лиза говорила, что в нападении участвовал и их сосед). Бандиты забрали всё, вплоть до одежды. Но даже в этой обстановке Елизавета Васильевна не растерялась, успев спрятать кое-что из драгоценностей. Ограбление приравнивали к раскулачиванию, и местная власть оставила семью «в покое».

Вскоре после этого их дочь Зинаида, проезжая через станцию Касторная-Восточная (Курская область), где остановилась на время пересадки, случайно познакомилась с местным жителем Фёдором, работавшим на железной дороге. Неожиданная встреча оказалась поворотной в судьбе Зинаиды: Фёдору она очень понравилась, и он сразу же сделал ей предложение. Не имея, по существу, собственного пристанища, она, не особенно раздумывая, дала согласие.

Через некоторое время в селение Касторное переехали и её родители – вместе с бывшим конюхом Николаем, которому некуда было податься. Построив небольшую избу, Сергей Григорьевич занялся каким-то кустарным ремеслом, а Елизавета Васильевна устроилась прислугой у врача-хирурга в Новом Касторном. Бывшего их конюха Николая Фёдор определил проводником товарных поездов.

Родители Фёдора жили бедно. Отец его служил ямщиком, пил и как-то по весне вместе с лошадью сгинул подо льдом. Мать Фёдора Арина была большой лентяйкой и, поддерживаемая сестрой Фёдора, всё взваливала на плечи молодой невестки, запрягая её порой даже пахать землю. Непомерный труд сломил даже такую крепкую женщину, какой была Зинаида: она «заработала» себе чахотку и хотела уходить от свекрови. Фёдор глубоко переживал всё это и вскоре отделился от матери и властной сестры, пристроив себе с женой небольшую хатёнку (в войну она была сожжена немцами: кто-то донёс, что в ней жил коммунист).

У Фёдора и Зинаиды Будковых родилось трое девочек: Галя (1929 г.р.), Лиля (1933) и Света (1936). Фёдор Дмитриевич по-доброму относился ко всем, но особенно – к младшей, которую, «из-за горячей любви к Сталину» (так написала Светлана) назвал именем дочери вождя всех народов.

В упомянутом выше письме Света рассказала, что её отец принял живое участие в судьбе Сергея Григорьевича: его разыскивали и вскоре арестовали, но Фёдору Дмитриевичу каким-то образом удалось его спасти.

Через некоторое время Сергей Григорьевич, а позднее и его супруга Елизавета Васильевна переехали в Мариуполь. Ютились сначала у племянницы Елизаветы Васильевны, а позднее – вместе с моими родителями – в частном доме на Паровозной улице. После переезда Сергей Григорьевич устроился на работу – кажется, простым рабочим. Приблизительно в 1937 году он умер.



Старший сын Сергея Григорьевича и Елизаветы Васильевны Александр окончил какой-то институт, женился и больше не давал о себе знать, скрывая своё происхождение. По словам Светы, работал он директором ткацкой фабрики в Волчанске (ныне Харьковская область). Жить ему довелось, однако, недолго – примерно столько же, сколько и его младшему брату Михаилу, т. е. моему отцу. В 1937 или 1938 году он попал под колесо автомашины: упал с борта, на котором почему-то расположился, на какой-то рытвине (по сведениям Зинаиды Сергеевны Александр ехал с группой рабочих на собрание).

Известно ещё, что племянник Елизаветы Васильевны (имя его Света не вспомнила) в 1920-е гг. уехал во Францию. Как писала дочь Светы Марина, «у нас кто-то делал запрос на список его однофамильцев (Чунихиных, Емельяновых)», но ответа не последовало – может быть, у него была уже другая фамилия.

Теперь подробнее о моём отце.

15-летним подростком, завершив учёбу в 7-м классе, Миша уехал в Донбасс и поступил (15 июля 1930 года) в 3-годичную Рутченковскую химшколу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) коксохимзавода. Окончив её с квалификацией машиниста коксового блока, до конца 1936 года работал по полученной специальности в Мариуполе на металлургическом заводе «Азовсталь». В 1937 году был переведён электрослесарем на завод им. Ильича, затем трудился монтажником распределительных устройств, а с апреля 1941 года – мастером электромонтажного цеха.

Подготовке квалифицированных рабочих уделялось в то время большое внимание. Так было и с моим будущим отцом. Около 9 месяцев, с 1 октября 1934 по 22 июня 1935 г., он обучался на производственно-технических курсах при «Азовстали», после чего ему был присвоен очень высокий по тому времени 7-й разряд по специальности бригадир-электрик. Кроме того, как окончивший курсы на «отлично», он был «освобожден от проработки техминимума» (знания и производственные навыки рабочих в те годы периодически проверялись). В бумагах отца имеется удостоверение, выданное ему в марте 1936 года. В нём указано, что он сдал на «отлично» квалификационной комиссии «Азовстали» государственный технический экзамен по специальности «бригадир распределительных устройств», а в сентябре 1937 года, уже на заводе им. Ильича, – экзамен по специальности электрика – также на пятерку.

Думаю, что даже этих кратких сведений достаточно, чтобы понять, как Михаил относился к избранной профессии и каким был работником. Кроме того, как рассказывала мне его мама Елизавета Васильевна, т.е. моя бабушка, Миша с детских лет отличался хорошей смекалкой и склонностью к различным ремёслам. Будучи ещё подростком, сшил красивое, долго потом служившее семье стёганое одеяло, а позднее научился делать или ремонтировать почти всё, что было необходимо по дому. По-видимому, большую роль в его воспитании сыграла его мама – Елизавета Васильевна. Спустя годы я убедился, что эта была удивительно мудрая женщина, наделённая, к тому же, от природы редким педагогическим даром. Я был ещё ребенком и далеко не всегда вёл себя безупречно, но никогда не слышал от неё каких-либо нотаций; всегда получалось почему-то так, что я сам переживал свои проступки. Наверное, поэтому вскоре после нашего знакомства бабушка Лиза стала для меня очень близкой: не раз бывало, когда совершенно непроизвольно я называл её мамой. Теперь я хорошо понимаю, как повезло с матерью моему отцу!

Вероятно, во время учёбы на курсах или после поступления на «Азовсталь» отец познакомился с симпатичной девушкой – Клеопатрой Боруш, работавшей на заводе им. Ильича. 7 декабря 1935 года Миша и Клера поженились.

В одном из наших семейных альбомов есть 2 фотографии: на первой из них, 1936 года, мать и отец вдвоём (к сожалению, значительная часть фото от ветхости утрачена), на второй (от 13 ноября 1937 года) – мать, отец и его сестра Зина. Эти фотокарточки мне всегда были дороги, но особенно часто я возвращаюсь к ним в последние годы. Всматриваясь в них, невольно погружаюсь в размышления, пытаюсь понять те чувства, которые они испытывали в далёкое, незнакомое для меня время. Особенно импонируют открытые энергичные лица отца и его сестры Зины, их живые, обращённые как будто прямо на тебя, глаза, выразительный разлет густых чёрных бровей. Сохранилась и фотография моей будущей матери, сделанная в феврале 1935 года. Не знаю, чем объяснить, но на всех снимках, несмотря на разное одеяние, она выглядит почти одинаково, без особенной живинки во взгляде. Со слов одной из её сестер, мне известно только, что как самой младшей и привлекательной, Клере доставалось больше материнской любви, ей многое прощалось, и, возможно, поэтому она привыкла представлять своё будущее безоблачным, надёжно защищённым от каких-либо невзгод. Могла ли она тогда знать, какие тяготы навалятся на неё уже через несколько лет и как трудно будет ей, лишенной необходимой жизненной закалки, их преодолевать?..

Родилась Клеопатра Федоровна Боруш 25 июня 1914 года в Мариуполе, по национальности была гречанкой, так что мое сердце гонит «по жилам» неразделимую смесь русской и греческой крови. Сохранилась справка, что Клеопатра окончила в июне 1931 года курс Мало-Янисольской 7-летки (не совсем понятно только, почему это произошло в возрасте 17 лет). Какие у неё были школьные успехи, она не рассказывала, но о двух любопытных фактах я узнал из её заметок, написанных в 1991 или 1992 году. Во время учёбы в 6-м классе ей было поручено заниматься ликбезом с пожилыми людьми, жившими по соседству. Занятия она проводила поочередно у домохозяек, и у неё, как она писала, это неплохо получалось. Это не было какой-то местной выдумкой: в те годы ликвидация безграмотности населения проводилась повсеместно. А в 7-м классе Клера участвовала в художественной самодеятельности, играя в школьных спектаклях. Мне это показалось интересным: ведь подобные занятия в столь юном возрасте приносят обычно большую пользу.

К сожалению, в оставленных мамой записках ничего не сказано об её отце, но маму её (мою бабушку), Боруш Евдокию Дмитриевну, я помню: она несколько лет жила с нами в Сталинграде.

Ни мать моя, ни её сестры не знали греческого языка – разве только отдельные слова. Не многое им было известно и из истории переселения греков в Приазовье. Из разговоров с моими мариупольскими тётушками, а больше из некоторых исторических публикаций, я узнал, когда и откуда появились здесь греческие поселения.

Первоначальным местом пребывания предков мариупольских греков был Крым. После русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг., в результате которой Россия овладела берегами Черного и Азовского морей и сделала крымского хана независимым от Турции, Екатерина II задумала «дозволить всем жителям Крыма свободу перебираться с имуществом своим на все четыре стороны... чтобы туркам негде было стать твердою ногою». В 1779 году, в ответ на просьбу митрополита Крымской епархии Игнатия о принятии греков в российское подданство, она разрешила крымским грекам переселяться в Азовскую губернию и жить там, не платя податей в течение десяти лет. В июле 1780 года большинство греков переехало к местам нового проживания. В основанном незадолго до этого Мариуполе появи-

лись выходцы из 6 крымских городов: Кафы, Бахчисарая, Карасубазара, Козлова (Гезлев), Бельбека и Балаклав. Греки основали в Приазовье около 25 сел, в том числе большое село, которое в память о Крыме называли Ялтой – в переводе на русский – «берег», «береговой». Насколько мне известно, здесь жили некоторые из более дальних родственников моей матери.

Мариупольские греки, постепенно утрачивая знание своего языка, стали говорить по-русски, не догадываясь порой, что использовали они при этом и греческие слова: в настоящее время в русском языке их насчитывается свыше 6 тысяч (*Источники: «Союз», 1990, №23, с.19; Бугай Н. Ф., Коцонис А. Н. «Обязать НКВД СССР... выселить греков». Москва, 1999, с.3, 14; «Греки России и Украины». Санкт-Петербург, 2004, с.128—129.*

Приазовье понравилось новосёлам: нетронутые сохой плодородные земли и тучные травы позволяли успешно заниматься земледелием и скотоводством. Одно из первых мест занимало и рыболовство: неглубокое Азовское море, тёплое и богатое рыбой, стало важнейшим источником жизни.

После окончания школы моя будущая мама работала на заводе имени Ильича копировальщицей, наблюдателем-хронометражистом на мартеновских печах, на листопрокатном стане и другом оборудовании. Необходимые знания и навыки пользования измерительными приборами она получила на специальных заводских курсах. В мартеновском цехе замеряла температуру плавки в печах и во время розлива металла в ковши, а затем – в изложницы. В листопрокатном цехе контролировала температуру подаваемых на прокатный стан раскалённых болванок, а затем и изделий (листов, рельсов и др.) – по несколько раз до их потемнения. Позднее вела хронометраж загруженности рабочих ряда цехов, отмечала их простои с указанием причин потери времени. Все данные передавала в отдел организации труда (ООТ), где они использовались для устранения выявленных недостатков. С сентября 1936 года, перед моим появлением на свет, до февраля 1939-го, не работала, затем снова поступила на тот же завод. В этот раз она исполняла должности младшего исследователя в отделе капитального строительства, а затем – чертежника в ООТ. В конце августа 1941 года уволена в связи с начавшейся эвакуацией семей работников завода на Урал и в Поволжье.

У мамы было четыре сестры, самая старшая – Олимпиада Фёдоровна (по мужу – Проценко), 1905 года рождения. Почти с равной периодичностью, через 2 – 3 года, родились: Елена (по мужу – Бадасен), Соня (Топузова) и Люба (Левенчук). Встречи с ними во время нескольких моих приездов в Мариуполь (начиная с 1951 года) оставили у меня тёплые воспоминания. Реже приходилось видеться с Любовью Фёдоровной, поскольку она жила в Коммунарке (в Луганской области), но я очень уважал её за доброту и простоту, открытую душу. Нравился мне и её муж, дядя Тима, по внешности очень похожий на хорошо известного моим сверстникам писателя Аркадия Гайдара. Доброжелательный, с лёгкой приятной улыбкой и в то же время с едва уловимой лукавинкой в характерных, немного на выкате, глазах, он как-то сразу располагал к себе, и всегда готов был оказать необходимую помощь. Было видно, что тёте Любе явно повезло со спутником жизни.

Обычно я останавливался у тётки Липы – один или с мамой (в такое время у неё постоянно находилась и тётка Лена). Обе мамы сестры были всегда в добром настроении. Замечательные и поистине неутомимые хозяйки, они готовили очень вкусные блюда, никогда не заглядывая в какие-либо кулинарные справочники. На зиму делали разнообразные заготовки – от солений и варений до томатного сока в пол-литровых бутылках с пробками, заливаемыми сургучом. К приправам покупали только разную зелень да душистое подсолнечное масло. Меня порой удивляло, как они выдерживают такие нагрузки, ведь, например, в 1975 году, когда мы в последний раз приезжали в Жданов (так назывался с 1948 года Мари-

уполь), тётке Липе шёл уже 71-й год, а она оставалась такой же беспокойной и занятой, как и в прежние мои приезды.

Им нравилось, когда мы гостили у них. Об этом говорили их глаза, неизменно добрые и внимательные. Я замечал, между прочим, что в этой радушной домашней атмосфере делалась более приветливой и весёлой и моя мама.

Нельзя не отметить и еще одно качество старших моих тёток: они любили застолье и умели очень хорошо петь на два голоса под гитару. Я знал, что когда-то Липа и Лена пели в церковном хоре, а иногда – под гитарный аккомпанемент Липы – выступали и в клубных концертах. Особенно им удавался дуэт Полины и Лизы «Уж вечер» из оперы Чайковского «Пиковая дама».

Однажды (это было в 1975 году) во время вечерней весёлой трапезы я услышал в их исполнении старую студенческую песню. Она очень мне понравилась, и я сразу же на вырванном из тетрадки листе записал её текст:

От бутылки вина не болит голова,  
А болит у того, кто не пьёт ничего.

*Припев:* Проведёмте, друзья, этот день веселей,  
Пусть наша семья соберется тесней.  
Налей, налей, бокалы полней, (2 раза)  
Пусть наша семья соберется тесней (2 раза).

Наша жизнь коротка, все уносит с собой,  
Наша юность, друзья, пронесётся стрелой.

*Припев*

Не два века нам жить, а полвека всего,  
Так зачем же тужить: это, право, смешно.

*Припев*

Позднее эту песню я с удовольствием пел в разных ситуациях для друзей и знакомых, что всегда оказывалось своего рода открытием для слушателей и вызывало одобрительную реакцию.

Осталось в моей памяти и ещё одно их увлечение – стихи Тараса Шевченко. Его знаменитый сборник «Кобзарь», на украинском языке, был у каждой из сестёр, они его просто боготворили. С тех пор и мне полюбился его своеобразный талант, страстные и удивительно напевные поэтические строки, и хотя я мало что знал по-украински, мне больше нравилось читать Шевченко на его родном языке. Мне вообще кажется, что излагать на другом языке поэтические произведения очень непросто, если при этом стараться передавать не только их содержание, но и ритмическую гармонию, эмоциональную окраску.

Несколько слов о тётке Соне. Реже, чем с семьями Проценко и Бадасен, но всякий раз по приезде в Жданов, я обязательно встречался и с ней. В отличие от довольно осанистых старших сестёр тетя Соня была сухощавой, крепкой женщиной с заметно более смуглой кожей лица. Я немного знал о её жизни, о пережитых ею горестях, связанных, кажется, с её мужем, но всегда ощущал с её стороны желание поговорить со мной на самые разные темы. Одна из них меня всегда удивляла: в каждый мой приезд она просила рассказать о каких-

либо событиях в мире, но особенно интересовалась почему-то Индией. Я говорил ей, что мало что знаю об этой стране, но она с признательностью воспринимала даже довольно скудные сведения. В такие минуты мне начинало казаться, что тётя Соня и сама чем-то похожа на индианку.

Общался я, конечно, и с детьми моих тётушек – с кем-то чаще, а с кем-то лишь изредка. А дети были у каждой из них: у тёти Лены – трое, тёти Любы – сын Олег – с огромной шапкой светлых курчавых волос, у остальных – по двое. Все они были очень разными не только внешне, но и по характеру. Наиболее близкие отношения у меня сложились с Борисом Проценко, который, несмотря на молодость, успел познать самые разные стороны жизни. Он запросто сходил с людьми, особенно, с девушками, и показался мне вначале излишне раскованным и в чём-то даже бесшабашным. Со временем я понял, что на самом деле он был человеком основательным и очень надёжным, но предпочитал скрывать это за внешне легким поведением и ироничным отношением к жизни.

## Глава 2. Из раннего детства

В том, что моё появление на свет было желанным для родителей, я не сомневаюсь, но самые первые воспоминания перемежаются почему-то с некоторыми неприятными ощущениями.

Родился я 8-месячным и, возможно, поэтому имел ослабленное здоровье. Об этом не раз напоминала мне потом мама, заботясь, чтобы я не перегружал себя. Тем не менее, осознавать себя я стал очень рано. В памяти отчётливо отложилось, что я часто плакал перед сном, а порой и ночью, не давая отдохнуть ни отцу, ни матери. Они по очереди носили меня на руках, пытаясь как-то утихомирить, но это мало что меняло: как только наступало чувство успокоения, я начинал голосить с новой силой, будто пытаюсь тем самым «насолить» за что-то родителям. Мне кажется, я понимал, как нехорошо себя веду, но почему-то не хотел сдаваться. Иногда, правда, меня убаюкивала мамина колыбельная песня (чаще всего – про серого волка, который меня может украсть и унести в лес, если я буду ложиться на бочок и спать на краю), но в целом мое поведение, видимо, изрядно досаждало родителям. Хотя и смутно, но вспоминаются отдельные их разговоры на повышенных тонах и возникавшее между ними отчуждение. Со временем я стал осознавать тревогу и от приключавшихся со мной ночных казусов: сон мой нередко прерывался из-за мокрой постели, которую приходилось полностью менять. Я горько переживал происходящее, особенно если мама проявляла недовольство случившейся со мной бедой.

Размышляя потом о детстве, пытаюсь отыскать истоки зарождения в моём характере некоторых негативных черточек, я пришёл к не очень приятному заключению о том, что и в ранний период, и в последующие годы мне недоставало родительской теплоты. Возможно, это выветрилось временем, но я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы кто-нибудь из родителей меня целовал. Да и сами они никогда не выражали при мне тёплые чувства друг к другу. Я не видел их обнимающимися, не ощущал их радости от общения. Может быть, они считали недопустимым так «раскрываться» в моём присутствии или просто стеснялись?

Теперь я понимаю, какой ущерб наносит такое поведение родителей ребёнку: от неосознанно «привитой» привычки излишне сдерживать свои чувства избавиться нелегко. Я это испытал на себе, прилагая впоследствии немало усилий, чтобы преодолеть этот изъян в своём характере.

С некоторым запозданием я начал сидеть и ходить. Очень любил ползать и делал это довольно проворно, но когда меня учили стоять на ногах, испытывал страх из-за боязни упасть. Первые шаги, как позднее рассказывала мама, я сумел сделать лишь после 13 месяцев, быстро обнаружив явные преимущества такого способа передвижения. Я чувствовал себя гораздо увереннее и был весьма доволен этой переменной: появились какие-то новые ощущения, что-то необычное в восприятии окружающего меня пространства. Сохранившиеся в памяти эпизоды, когда мне было по-настоящему радостно, относятся именно к этому времени, хотя и тогда случались неожиданные огорчения.

Мне было, наверное, года два, когда папа купил новую электрическую плитку. Нам с мамой она очень понравилась. Квадратный её корпус был литой, чугунный, округлые ножки разведены для лучшей устойчивости, а наружная их поверхность была покрыта блестящим хромом. И вот на такой замечательной плитке мама вскоре затеяла оладьи, и с пылу-с жару клала их для меня в тарелочку. Она умела готовить очень хорошо, но на этот раз её

«изделия» были особенно вкусны, а главное, она совсем не ограничивала меня в их поглощении. Аромат тех чудесных оладий я, кажется, ощущаю до сих пор! Но с этой плиткой связано и другое воспоминание.

В комнате было довольно темно, так как мама отдыхала после обеда, и оконные ставни были закрыты. Я не спал и в какой-то момент зачем-то полез под кровать, где лежали чемодан и наша новая электроплитка. Под кроватью было ещё темнее, но хромированные лапки плитки, будто чем-то освещенные, как живые смотрели прямо на меня. Я испытал настоящий ужас и громко закричал. Мама не сразу поняла, что случилось, и долго успокаивала меня, вытащив злополучную плитку из-под кровати и объясняя, что я напрасно так испугался, но я и потом долго ещё не решался заглядывать под кровать.

Много лет спустя я вспомнил об этом случае, познакомившись с необычными откровениями Михаила Зощенко о поиске причин его тяжёлого психического заболевания, случившегося уже в зрелые годы. Это было его уникальное исследование – «Повесть о разуме». Вспоминая шаг за шагом свою жизнь, тщательно «препарируя» всё происходившее с ним в ранние годы, он пришел к выводу, что источником его мучений мог быть глубокий испуг, перенесённый в детстве, и только благодаря постепенному «самозалечиванию» последствий принесённой когда-то в его мозг острой травмы Зощенко смог преодолеть смертельный кризис. Это удивительная история привела меня к пониманию, насколько важным для формирования человеческой личности является период его раннего детства, как много значит атмосфера, в которой он растёт – с самых первых дней после рождения.

Еще одна неприятность случилась в один из воскресных дней. Жили мы тогда в Мариуполе на частной квартире у вокзала. Отец собирал приёмник. Через какое-то время он подозвал меня и стал что-то пояснять. Раньше он этого не делал, так как не любил, когда его отвлекали, а мне очень хотелось быть рядом. Совершенно неожиданно этот эпизод едва не окончился для меня серьёзной бедой. Показывая мне части приемника, отец взял в руки одну из металлических фигурных пластин с множеством небольших отверстий, продел в одно из них тонкий гвоздик и начал её вращать. В какое-то мгновение я случайно подался вперед, и пластина одним из углов вонзилась в моё лицо совсем близко от глаза. Отец сильно испугался: ведь глаз мой сохранился лишь по случайности!

Через некоторое время он закончил сборку, сделал красивый деревянный корпус, и приёмник заработал! Это было что-то вроде чуда, и я видел, что отец был очень доволен своим детищем.

Помнятся и некоторые другие эпизоды тех лет. Как-то мы пошли к какой-то родственнице мамы (кажется, это была её двоюродная сестра). Поблизости от её дома я стал играть с местными ребятишками возле старого покосившегося забора с большими деревянными воротами. В какой-то момент, видимо, от чьего-то толчка, ворота неожиданно стали падать и едва не накрыли меня. Тогда я впервые услышал выражение: «родился в рубашке»! Сам же я не придал происшедшему значения: лишь позднее понял, какой опасности подвергался.

Сегодня мне кажется непонятным, почему меня редко брали на пляж – во всяком случае, в моей памяти как-то не закрепились естественной для ребенка радости общения с морской стихией. Никакой опасности для меня азовский песчаный берег не представлял: почти повсюду, в том числе, и в городской его части, море было настолько мелководным, что надо было долго брести от берега, чтобы вода дошла хотя бы до колен. Удовольствие от души покататься в море я восполнил лишь позднее, когда приезжал в Мариуполь в студенческие каникулы. Тогда удавалось не только вдоволь поплавать, но и половить в мелковод-

ных прибрежных протоках «бычков» – внешне малопривлекательных толстоватых рыбёшек с необычно широкими головами, которые, однако, в жареном виде были очень вкусны!

Приятные воспоминания связаны с воскресными прогулками с отцом по улицам Мариуполя. В такие дни у отца всегда было хорошее настроение, он откликался на все мои просьбы, покупал пирожное – языки или трубочки с кремом, газированную воду со сладким сиропом и даже мороженое. Оно формовалось прямо при покупателе в металлическом тубусе с поршнем-толкателем из массы, содержащейся в специальном корытце, охлаждаемом снизу льдом, в виде невысоких цилиндрических таблеток, на торцы которых клались вафельные кружочки. Все это нехитрое устройство располагалось на легкой тележке с трубчатой дужкой впереди для удобства перемещения. Любителей мороженого было много, и почти у каждого такого лотка вновь и вновь образовывалась очередь. В тёплые воскресные дни центральная часть города заполнялась множеством людей, и я испытывал гордость, что меня держит за руку такой добрый и красивый папа, на которого невольно обращали внимание. Жаль только, что подобные вояжи были не частыми, но иногда мне удавалось побыть с отцом и за городом, когда он брал меня с собой на рыбалку.

У него было заветное место, где можно было использовать приспособление, которое он называл пауком. Это была довольно большая прикрепленная к округлому ободку провисающая сеть с грузилом на дне, привязанная тремя тонкими стропами к концу длинной жерди. Противоположной её частью отец упирался в песчаный берег, а затем, слегка отклоняясь для равновесия назад, опускал сеть в воду – без какой-либо приманки. Расчёт делался на то, что шныряющие недалеко от берега стайки рыб могли заплывать и в зону сети. Периодически сеть вынималась и нередко с уловом. Много такой снастью не поймает, но удовольствие мы получали изрядное. Я не знаю, продавались ли эти сетки или отец делал их сам, но у других рыбаков подобных устройств я не встречал.

Однажды отец пришел с работы с несколькими своими товарищами и с новенькой гитарой. Оказалось, что она была подарком отцу за какие-то достижения в работе. Сам он играть не умел, но один из гостей довольно уверенно стал перебирать струны, а затем спел под гитару две-три песни. Инструмент всем понравился. Отцу пожелали поскорее его освоить, что он потом и пытался сделать, но уделял этому совсем мало времени. Позднее простейший аккомпанемент разучила с помощью своей старшей сестры мама. Кое-чему научила она и меня: я исполнял несколько весьма простых пьесок и украинскую народную песню, из текста которой запомнился лишь первый куплет:

І шумить, і гуде,  
Дрібний дощик іде.  
А хто ж мене, молодую,  
Та й до дому отведе?..

В детстве меня не баловали игрушками: помню только разборную пирамидку из разноцветных деревянных колец разного диаметра, цветную погремушку и несколько глиняных да тряпичных зверушек. Редко мне доводилось слышать сказки – по-видимому, мама их просто не знала. Иногда она читала для меня детские книжки, но особенно запомнились алфавитные деревянные кубики с наклеенными буквами. Они у меня появились довольно рано, что помогло мне как-то незаметно освоить алфавит, а потом и складывание сначала слогов, а затем и слов.

Очень сожалею, что мне не привили интереса к стихам. Этот пробел сильно досаждал мне в школьные годы, особенно когда меня вызывали для чтения заданного к уроку стихо-



творения: дома я много времени тратил на его заучивание, но перед классом и учителем нередко «спотыкался». Думаю, что причина моих страданий была и в том, что школьные педагоги никогда не учили нас приёмам запоминания стихов, но понял я это много позже, когда сам стал интересоваться поэзией.

Сохранились в памяти и отдельные бытовые картинки того времени. Относятся они, в основном, к 1939 и 1940 году, когда мы ещё жили неподалёку от вокзала на Паровозной улице. К тому времени материальное положение людей улучшилось, и многие были уверены, что в дальнейшем жить будет еще легче. Такое настроение я улавливал и из разговоров взрослых, и по их поведению на улице, по тому, как встречали друг друга знакомые люди.

Не знаю, был ли тогда хлеб в магазинах, но на нашу улицу его регулярно привозил на тележке пожилой мужчина. Хлеб, весовое количество которого соответствовало составу данной семьи, находился в белых полотняных мешочках, на которых была написана фамилия и адрес получателя. Пшеничные буханки были всегда хорошо пропечёнными и, будучи ещё тёплыми, источали чудесный аромат, заполнявший, казалось, всю улицу.

Почему-то отложился в сознании и эпизод совсем другого характера, случившийся в послеобеденные часы одного из знойных воскресных летних дней. Насколько помню, мне было тогда около трёх лет, и я ходил дома голышом. Мама тоже изнывала от жары, и велела мне закрыть ставни. Я отказывался, желая сначала одеться, но она уверила меня, что в это время на дворе никого не бывает и стесняться нечего. Преодолевая робость, я пошёл выполнять просьбу. Выйдя на улицу, я вдруг увидел на противоположной её стороне Майку, соседскую девочку примерно моего возраста – в таком же откровенном виде! Оказалось, что Майка тоже вышла закрыть окна. Она насупилась, бросила на меня недовольный взгляд, быстро затворила ставни и, не проронив ни слова, отправилась домой, демонстрируя свое крепко сбитое ловкое тельце. Моё сердце не испытало никаких особых эмоций от неожиданной встречи с представительницей противоположного пола, и я даже не обратил внимания на дарованные Майке природой «интересные» отличия. И всё-таки эта девчонка оставила почему-то в памяти довольно устойчивый след. Может быть, именно поэтому в начале 1950-х годов, посетив вместе с мамой после долгой разлуки свою родину, я вдруг вспомнил про Майку. Мне сказали, что она живёт по-прежнему в Мариуполе, и что уже в 13-летнем возрасте родила дочку. Что ж, подумал я тогда, южанки созревают довольно рано, и такие истории с ними порой случаются. Ничего больше я о ней не выяснил, да меня это и не интересовало, вспоминал о Майке я теперь редко. Почему-то мне представлялось порой, что у неё не всё в жизни сложилось хорошо. В такие минуты я мысленно жалел её – не по годам решительную и в чём-то загадочную девочку из моего детства...

Регулярно бывали на нашей улице старьёвщики, собиравшие вышедшую из употребления одежду и просто тряпки в обмен на детские игрушки: глиняные свистульки, подвешенные на цветных резинках шарики и прочее. Толкая перед собой нехитрые двухколесные устройства с навешанными на них приспособлениями и инструментами, приходили точильщики, лудильщики, реже – столяры, стекольщики и прочие мастера. Какого-либо «расписания» их появления не было; возвещали о своём прибытии они громкими протяжными голосами, называя всё, что могут исправить. Если кто-то их останавливал, они внимательно осматривали прохудившиеся кастрюли, чайники и прочую утварь и определяли, что можно починить, а что нельзя. С солидным видом, без спешки затачивали на наждачных кругах с ножным приводом кухонные ножи, ножницы, топоры; более сложную работу брали с собой и говорили, когда привезут изделие после починки. Им всегда верили на слово.

Не помню, чтобы к ним обращалась моя мама. Объяснялось это просто: подобную работу мог прекрасно делать мой отец. Имелись у него и материалы для починки и шитья обуви: различного типа кожа – в том числе толстая свиная для подошв мягких туфель, куски резины разной толщины, клей (мездровый, резиновый и даже для поделок из плексигласа). Особенно отец ценил дубовые обувные колодки. Он, видимо, покупал их у каких-то специалистов и старался никому не давать, особенно после того, как один из его товарищей по этому ремеслу «потерял» пару колодок для мужских ботинок наиболее ходового размера. Были также и все необходимые инструменты – в том числе, для столярных, слесарных, лудильных работ. Папа всегда поддерживал их в исправном состоянии, своевременно устранял какие-то дефекты, а кое-что делал и сам. У нас до сих пор сохранились, например, изготовленные им ножницы по металлу и разборный никелированный молоток с полый металлической ручкой с наружной насечкой. На ручку навинчивается сам молоток, а в отверстие на другом её конце, закрываемое резьбовой втулкой, укладываются мелкие инструменты – свёрла и зажимные отвертки.

Часто отцу приходилось по просьбе своих знакомых «оживлять» ручные часы. Для этого он использовал специальные окуляры и набор часовых отверток. Делал он как-то и подзорную трубу, поэтому у нас было немало увеличительных стекол. Всегда имелась и красивая зеленая паста ГОИ – в виде цилиндрических плашек, а также наждачная бумага различной зернистости, вплоть до «нулевки».

Я любил наблюдать, как отец готовил своё рабочее место и как потом уверенно, без суеты, выполнял необходимые операции. Мне нравился запах кожи, особенно, хромовой, резинового клея и бензина. Даже довольно неприятные испарения при варке мездрового клея не очень «смущали» моё обоняние.

### Глава 3. Эвакуация: Сталинград – Барнаул – Свердловск

В то время я не задумывался о том, какую роль играл в моей жизни отец. Лишь много позднее я понял, что, наблюдая его за какими-то делами, я многому учился у него, перенимал, сам того не сознавая, что-то полезное для себя. К сожалению, продолжалось это не долго. Всё изменилось 22 июня 1941 года, когда началась война. В отличие от взрослых я не вполне осознавал случившейся трагедии, но вскоре почувствовал, насколько непростые заботы внезапно обрушились на моих родителей.

Из отдельных их разговоров я впервые услышал новое для меня непонятное слово «эвакуация», но вскоре ощутил связанную с ним резкую перемену в нашей жизни. Со скудных слов отца я узнал, что завод им. Ильича, на котором он в это время работал, как и другие предприятия, будет переезжать куда-то очень далеко, на новое место.

Семья наша состояла в то время из четырех человек: отец, его мать – Елизавета Васильевна, моя мама и я. Из записей матери я знаю, что на заводе Ильича отец оставался до 20 августа, затем, с частью других работников, был откомандирован в Сталинград, где вместе с ним оказались и мы. Работал он в Красноармейске – южной части города – заведующим мастерской на судовой верфи, ставшей с недавнего времени заводом №264. Позднее я узнал, что создание этой судовой верфи началось ещё в 1937 году, когда на базе приволжского затона был организован ремонтный пункт. В его мастерских ремонтировались деревянные баржи, дощаники, надстройки пароходов и несложные судовые механизмы. В августе 1941 года в Красноармейский затон был эвакуирован «Гомельский судоремонтный завод», получивший название Красноармейского судоремонтного завода. Вот на это обновленное предприятие и попал мой отец.

Уехали мы из Мариуполя в Сталинград 21 августа, а прибыли 4 сентября 1941 года. Разместили нас вначале не в Красноармейском посёлке, а в Бекетовке (в Кировском районе) – в деревянном одноэтажном доме: его называли домом ИТР – инженерно-технических работников. Мне в это время было около 5 лет. Мама, как я понял позднее, была на исходе 5-го месяца беременности.

Дом, выстроенный в виде буквы «П», был довольно большим, но плотно заселённым. Семья наша занимала вначале маленькую комнатку, в которой 20 декабря 1941 года родился мой братик – Александр *(не в память ли о погибшем брате моего отца его так назвали?)*. Как говорила мама, родился он под бомбёжкой, и удостоверение о рождении в такой нервной обстановке получить не удалось. Вскоре после рождения Саши соседи по квартире (2 человека) уступили нам свою более просторную комнату.

Это был первый, чуть больше года, период нашего пребывания в Сталинграде, о котором запомнилось только то, что отца полностью поглощала работа, и я его почти не видел. Мать регулярно кипятила в оцинкованной выварке, а затем стирала его грубую рабочую одежду. Хозяйственного мыла найти было невозможно, поэтому приходилось использовать каустическую соду, оставлявшую на руках болезненные ожоги. Несмотря на все трудности, мы регулярно мылись, тщательно экономя воду и, особенно, мыло для лица. Купались мы – сначала я, потом мама – в оцинкованном корыте. Процедуру эту я очень не любил – главным образом потому, что мама, не реагируя на мои протесты, всегда использовала очень горячую воду для мытья головы. Дело порой доходило до того, что я просто выскакивал из корыта, не выдерживая такой экзекуции.

Несмотря на занятость на производстве, отец умудрялся иногда находить время и для домашних дел. Он сшил себе и нам босоножки, сделал из алюминиевого листа кастрюлю и ведро, которые прослужили много лет. Затем в нашем доме появился оригинальный, выполненный с большой любовью, перочинный нож – в форме сапожка. Тогда же отец начал делать, но не успел закончить портсигар из плексигласа. Очень красивыми, без единого изъяна, получались у него фигурные пуговицы и мундштуки, собираемые на латунной или медной резьбовой трубке из плексигласовых пластинок разного цвета. Пуговицы и мундштуки он несколько раз продавал на базаре, чтобы иметь хоть какие-то дополнительные деньги.

В начале сентября 1942 года, в связи с тем, что бомбёжки Сталинграда значительно участились, нас решили отправить в Барнаул, а отца, вместе с группой других рабочих, перевели несколько позднее на Уралмашзавод: с конца октября он работал там электрослесарем в Управлении капитального строительства.

Я видел, что отец очень переживал расставание с нами. С таким же настроением к нам приходили как-то его товарищи по работе. Разговаривали они почему-то приглушенными голосами. Тогда, конечно, я не понимал причин такой их сдержанности, но ощущение какой-то тревоги, исходящей от взрослых, до меня доходило. Аналогичная атмосфера проявлялась и позднее, когда мы жили в бараке в Красноармейском районе и отец был снова с нами. Однажды я спросил мать, почему отец и пришедшие к нему двое знакомых разговаривали так тихо, что их трудно было понять. Мать от прямого ответа уклонилась, а затем продемонстрировала мне приспособление, об уникальности которого я не подозревал. Она дала мне алюминиевую кружку и велела плотно приставить её открытой стороной к стене, а дном, так же плотно, к уху, что я тут же и сделал. К величайшему изумлению, я вдруг довольно отчётливо услышал разговор людей, живших в соседней комнате! После этого она кое-что пояснила мне. Я, хотя и не в полной мере, понял, что, зная о таком способе подслушивания, взрослые на всякий случай, если касались «серьезных» тем, говорили почти шёпотом. Почему следует бояться чужих ушей, я не совсем понимал, но решил, что отец и его гости опасаются быть откровенными неспроста. Со временем я стал догадываться, что не всё в жизни обстоит так хорошо, как представлялось в моём детском сознании...

До Барнаула мы добирались в товарном поезде. Затянувшееся почему-то время ожидания на железнодорожном вокзале было тревожным: все боялись бомбёжки. Казалось, что мы не успеем выбраться из города.

Восседая на объёмных тюках в грузовике, я наблюдал за очередным воздушным боем. Немецкие истребители с неровным, натужным рёвом моторов явно преобладали в небе. Это было понятно даже нам, подросткам. Неожиданно, когда наша машина ещё стояла, неподалёку упал на землю довольно крупный осколок. Под тревожные крики взрослых я вдруг прыгнул с узлов с вещами и, подбежав к осколку, взял его в руки. Ладони сразу же пронзила острая боль: светло-серый осколок был очень горячим и имел многочисленные рваные зазубрины. Руки мои оказались в нескольких местах в мелких порезах и окрасились кровью. Бросив опасную находку, я бегом вернулся к грузовику, получив нагоняй и от матери, и от наших попутчиков.

Наконец, к всеобщей радости, началась долгожданная погрузка на поезд. Видавшие виды вагоны оказались неплохо оборудованными для перевозки людей. Для каждой семьи было выделено отдельное место на дощатых нарах, а примерно посередине вагона располагалась прикреплённая к полу железная печка – «буржуйка». Во всех вагонах были назначены старшие, следившие за порядком и раздававшие семьям продукты, которые они периодически получали по пути следования. На железнодорожных станциях люди стремились

прежде всего добыть кипяток: сырую воду старались не пить. Во время наиболее коротких остановок забота о кипятке превращалась в нелёгкую задачу: вдоль вагонов бежали наперегонки и стар и млад в поисках драгоценного крана, обжигаясь, наполняли чайники и бегом возвращались в вагоны. Плохо приходилось тем, кто не успевал заправиться горячей водой, хотя, конечно, таких всегда кто-нибудь потом выручал.

Если у нашего поезда и было какое-то расписание, то отношение к его соблюдению было довольно легковесным, так как приоритет отдавался составам, обслуживавшим военные потребности. Остановки были порой неожиданные – то короткие, а то надоедливо длительные. В крупных же городах поезд всегда останавливался надолго. Особенно запомнился Новосибирск, где всех нас повели в баню, и пока мы мылись, нашу одежду пропарили, а затем накормили и снабдили кое-какими продуктами на оставшуюся часть пути.

На крупных станциях ходовая часть поезда осматривалась обходчиками, которые особое внимание обращали на наличие масла в «буксах» – колесных подшипниках. Каждая букса простукивалась молоточком, и по характеру отзвука определялось, не надо ли добавить масла. Если это было необходимо, обходчик открывал проволочным крючком довольно массивную чугунную крышку буксы и доливал масло из жестяной маслёнки. Мне нравилось наблюдать за этими людьми, и я никогда не видел, чтобы кто-либо из них пропустил хотя бы одну колёсную пару. На таких станциях происходила также заправка паровоза углём и котловой водой, проверялась система парового привода кривошипов и тормозные устройства паровоза и вагонов. Это из того, что наблюдал я сам или рассказывал мне кто-нибудь из взрослых.

Поезд шёл не быстро, а на затяжных подъёмах едва тащился, и если встречались колхозные поля – к этому времени уже убранные, мужчины и подростки спрыгивали с вагонов и успевали набрать в рубашки или сумки оставшуюся в земле картошку, а порой и какие-то овощи. Попадались иногда и сахарная свёкла. Её очищали от земли, слегка обмывали и запекали на «буржуйке». Свёкла очень нравилась и взрослым и детям.

Я часто лежал на нарах и подолгу смотрел в продолговатое вагонное окошко. На крутых поворотах его приходилось закрывать одеялом, чтобы защититься от едкого паровозного дыма, который в ветреную погоду всё равно проникал в вагонные щели. Под перестук колёс я любил обозревать проплывающие мимо картины: широкие равнины, холмистые перелески, сосновые и смешанные леса и рощи. Местность была, в основном, довольно однообразной. Исключением были два случая, когда мы преодолевали крупные мосты. Границы окружающего пространства вдруг широко раздвигались, и можно было любоваться совершенно новыми видами: и неспешно протекающей далеко внизу рекой, и незнакомым городом. Через много лет я узнал, что очень красивым участком железной дороги был район Уральского хребта, но нам не довелось ничего увидеть, т.к. мы проезжали его в ночное время.

В Барнаул мы прибыли в середине сентября 1942 года, пробыв в пути больше месяца. Столь долгое путешествие было, конечно, утомительным – прежде всего для взрослых. Ведь именно на них лежали все заботы, особенно о детях, которые могли и капризничать, и болеть, и куда-то вдруг запропасться на остановках. Тяжело было с двумя детьми и моей матери, но, слава богу, с нами была её свекровь – моя любимая бабушка Лиза, которая всем нам вселяла уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все тяготы, что всё будет хорошо. Она постоянно заботилась о нас, и даже в непростых дорожных условиях умудрялась каким-то образом подзаработать немного денег и достать какие-то продукты. В своих записках

мама очень тепло вспоминает свою свекровь, без которой она не смогла бы справиться с теми проблемами, которые сопровождали нас и в пути, и на далёкой чужбине.

По прибытии на место всех эвакуированных разместили в зале то ли клуба, то ли кино-театра, где мы пробыли около двух дней, располагаясь на металлических кроватях с ватными матрацами. Довольно часто нам показывали кино, и я с удовольствием смотрел почти всё подряд. Затем нас поселили в какую-то избу, хозяйка которой явно не обрадовалась нам. Жила она с маленьким сынишкой, и забот ей хватало. В поведении её проявлялась порой некоторая нелюдимость, смущали и отдельные привычки. Мне запомнилось, как однажды наша хозяйка, сполоснув детский эмалированный горшок, замешивала в нём тесто. На выраженное бабушкой в весьма мягкой форме недоумение, последовал неожиданный ответ: «Я всегда так делаю, я же его помыла!». И всё же эта женщина, как могла, помогала нам.

Недели через две нас разместили в одном из бараков, в большой комнате – вместе с уже проживавшими там людьми, оказавшимися очень простыми и приветливыми.

Отец продолжал работать в Сталинграде, не зная нашего адреса. Поиски ничего не давали, и лишь после переезда на Уралмашзавод ему стало известно наше местонахождение, и он, как отметила в своих записках мама, сразу же выслал нам 1 тысячу рублей. По ходатайству работающих на заводе мужчин все затерявшиеся семьи были вскоре отправлены в Свердловск – теперь уже пассажирским поездом. Отца, встретившего нас на вокзале, трудно было узнать: видно было, что он страдал от недоедания, лицо его было припухшим, и выглядел он постаревшим. Это был конец 1942 года.

На новом месте эвакуированных оказалось много, и они смотрели на прибывших довольно недружелюбно, так как боялись потерять работу. Разместили нас сначала в районе Уралмаша в две семьи в одной комнате, но вскоре поселили в большом двухэтажном деревянном доме старой постройки, с сильно потемневшим от времени фасадом. Комната, бывшая ещё недавно кухней, не отапливалась, и жить в ней зимой было невозможно. Отец быстро сделал железную печку и санки, на которых привозил из леса дрова. Поскольку на работе ему приходилось бывать подолгу, он порой не успевал это делать. Помню, как однажды вечером отец молча ушёл из дому и вскоре притащил часть полуразрушенного забора. Идя на такой шаг, он понимал, что сильно рисковал, но от отчаяния не думал о последствиях: надо было спасать от холода семью! Мне было как-то не по себе от его поступка, но и я чувствовал, что другого выхода не было.

Нам постоянно не хватало не только тепла, но и еды. Никогда ранее, как и в дальнейшем, мы не испытывали такого голода, как в Свердловске. Страдали, наверное, все горожане. Отец, сам полуголодный, приносил иногда оставляемую им для нас часть пищи из заводской столовой, но это было каплей в море, а мне всегда в таких случаях было жалко отца. Я понимал, что он так поступает ради нас, но, глядя на его ввалившиеся глаза, нездоровую полноту щек и отекавшие ноги, сострадал ему. Не хватало и папиной зарплаты на покупку продуктов, которые можно было приобрести лишь на базаре, а цены там были непомерно высокие. В магазинах продукты стоили во много раз дешевле, но нормы выдачи по карточкам были мизерные. Особенно тяжело переносилась постоянная нехватка хлеба.

На базаре мы покупали то, что подешевле, в том числе отруби, чуть ли не на половину смешанные обычно с древесными опилками. Из этих «отрубей» варили кашеобразное месиво, сдабривая его мизерным количеством растительного масла. Вместо сахара использовали сахарин – «химический сахар». Страдали от недоедания практически все, а некоторые решались порой и на самые крайние меры. Однажды мы с мамой шли с базара,

и вдруг услышали позади какие-то истошные крики. Вскоре мимо нас стремительно пробежал довольно молодой на вид человек с буханкой хлеба в правой руке, а за ним – двое мужчин. Как мы поняли, кто-то из них нёс в руке эту буханку, купленную по карточкам, вероятно, на всю семью. На неё и позарился какой-то прохожий. Когда преследователи стали догонять вора, он неожиданно подбросил буханку и «отфутболил» её ногой в сторону, а сам скрылся в ближайшем переулке.

На Уралмаше нашей подлинной спасительницей, добытчицей хлеба насущного снова проявила себя моя бабушка – Елизавета Васильевна. Быстро освоившись на новом месте, она стала приносить из заводской столовой картофельные очистки. Мыла их, пропускала через мясорубку, перемешивала с отрубями и, добавив крохи растительного масла, жарила лепёшки. Они всегда были горькими, но на какое-то время притупляли чувство голода. А вскоре бабушка нашла более надёжный путь поддержки семьи. Она начала брать заказы на перелицовку пальто, хотя раньше никогда этим не занималась. Очень общительная, с открытым светлым лицом, Елизавета Васильевна, как рассказывала моя мать, с первого взгляда располагала к себе даже совсем незнакомых женщин. Однажды баба Лиза принесла заказ от женщины, которая даже не спросила адреса незнакомой ей модистки – так эта клиентка доверилась ей. Вскоре пальто было готово, бабушка отнесла его владелице, получив за работу продукты. Быстро освоив новое для себя дело, она всё чаще стала брать заказы от жён различных начальников, от которых получала более весомый «навар». Потом некоторое время бабушка работала надомницей: шила наволочки. Не раз она ездила со знакомыми из нашего дома и в ближайшие сёла, где что-то шила для людей или исправляла их одежду в обмен на продукты.

Особую заботу Елизавета Васильевна проявляла обо мне, поскольку мама была постоянно привязана к маленькому Шурику. Порой я чувствовал, что бабушка не очень довольна моей матерью, считая, по-видимому, что пора отваживать Сашу от кормления грудью и брать на себя часть её забот. Раза два или три, в особенно трудные минуты, бабушка позволяла себе делиться своим настроением со мной. Моей маме она ничего такого не высказывала. Мне иногда казалось, что моя мать, привыкнув к своему положению кормящей, не вполне сознавала, насколько тяжело приходилось свекрови. А однажды я обиделся на мать, когда она, покормив Шурика, отцедила из груди часть оставшегося молока в фарфоровую чашечку и, весело посмотрев на меня, предложила выпить его. Мне стало не по себе, я никак не ожидал такого от матери, но она проявила настойчивость. Морщась от непривычного вкуса сладкого тёплого молока, я с трудом выпил его. Через несколько дней предложение повторилось, но я наотрез отказался.

Когда мама, наконец, отняла от груди Шурика, ей также пришлось участвовать в добыче пропитания. Сейчас я понимаю, насколько тяжёлой была для неё эта ноша! В одной из своих записей она так поведала о своих мытарствах:

«Я стала ездить в деревни, не одна, конечно, а с квартирными соседками. Чтобы ехать на поезде, надо было получить пропуск, поэтому домой часто приходилось добираться пешком. Вспоминаю такой случай. Была зима. С одной женщиной я добралась до какого-то села, чтобы поменять взятые с собой вещи на картошку. На обратном пути мы решили остановиться передохнуть на ближайшем вокзале, но началась облава – искали спекулянтов. Моя попутчица на всякий случай убежала от возможной беды, и мы потеряли друг друга. Я осталась одна с двумя ведрами картошки в мешке. Взяв его на плечо, шла по лесу с этим нелегким грузом. Вначале рядом были и другие люди, но они шагали быстрее и вскоре оторвались от меня. В ближайшем селе я переночевала у одной хозяйки в коридоре, за что отдала ей часть картошки. Утром пошла лесом домой. Мне повезло: меня догнали 2 человека – как

оказалось, командированные на Уралмашзавод. Они за несколько коробок спичек донесли мою картошку до вокзала. Ночь я провела на вокзале, так как из-за позднего времени боялась идти домой. Дома я застала мужа и свекровь в сильном волнении, так как та женщина вернулась, а меня не было. Соседку поругали, конечно, за то, что она оставила меня одну в пути следования.

Ходила я по селам менять вещи на картошку и еще несколько раз. И всё приходилось отдавать за бесценок. Помню, было у меня красивое ажурное покрывало, хорошие платья и многое другое, что мне нравилось – со всем пришлось расстаться. Надо же было как-то жить, а с вещами не проживешь. У нас ведь бывало и так: вскипятишь воду, заправишь её ложкой растительного масла, добавишь тёмной соли, которая продавалась на рынке по 35 руб. за стакан, – вот тебе и первое на обед! Сейчас и представить себе такое невозможно. После мужу выделили участок с картошкой, репой, брюквой и турнепсом – и стало легче жить».

Я тоже помню эту перемену, хотя, конечно, в то время не знал никаких подробностей. Только в конце 1990-х годов, работая в Снежинском городском музее, я случайно узнал, что такие участки выделялись по инициативе директора Уралмашзавода Бориса Глебовича Музрукова.

Жизнь моя в Свердловске была однообразной. Особенно огорчало, что я мало бывал на улице: дома боялись, что со мной может что-либо случиться, особенно если я попаду в какую-нибудь нехорошую кампанию местных мальчишек. Видимо, поэтому, когда мне удавалось бывать во дворе, эти ребята меня не очень воспринимали. Я чувствовал себя неуютно, пытался найти контакты с ними, но чаще всего оказывался в одиночестве. И вот однажды меня осенила довольно сумасбродная мысль. Мама накануне сварила почти целое ведро похлёбки, дома никого не было, и я решил показать мальчишкам, что тоже не лыком шит. Выйдя на улицу, я пригласил их домой, сказав, что у нас оказалось много супа, и я их угощаю. Недолго думая, все четверо ребят пошли со мной. Мы съели почти всё содержимое ведра, и только тогда я подумал, что вечером мне будет устроена серьёзная взбучка. К моему удивлению, меня никто даже не поругал, хотя и мама, и бабушка были недовольны, что я сделал всё это без спроса. На улице же отношение ко мне ребят сразу улучшилось, но не потому, что угостил их: главным для них было то, что они увидели во мне «своего», способного на поступки, сулившие мне неприятности.

В конце октября 1942 года мама устроилась техничкой в заводскую столовую, проработав там около года. Это временно облегчило наше положение, хотя и не столь заметно. Условия жизни в неблагоустроенной тесной комнате, плохо отапливаемой, оставались трудными. А спустя 9 месяцев семья наша неожиданно уменьшилась: 29 июля 1943 года, в возрасте 1 год 7 месяцев и 9 дней умер Шурик. В свидетельстве о смерти в качестве причины указано воспаление лёгких. По словам мамы в то время он болел ещё и коклюшем. Несмотря на тяжёлое состояние, Шурик никогда не плакал, словно понимая, что он вскоре умрёт.

Отец сделал простенький дощатый гробик, и братик мой был погребён где-то недалеко от места нашего проживания. Похороны прошли буднично, без посторонних людей и без слёз. Смерть Шурика почему-то не всколыхнула тогда по настоящему и мою душу – и это несмотря на то, что обычно я испытывал к нему искреннюю привязанность. Такая реакция объяснялась, вероятно, и особенностями того времени, и постоянными трудностями, которые приходилось испытывать нашей семье с двумя детьми. Может быть, поэтому мы с мамой редко говорили на эту тему. Но теперь, когда прошло столько лет, я иногда вспоминаю Шурика и очень жалею, что он так рано ушёл из жизни. Мне кажется, что если бы



мы были вместе, всё могло сложиться как-то иначе: забота о младшем брате, возможность вместе разрешать какие-то проблемы, помогать друг другу сделали бы мою жизнь более наполненной и интересной.

## Глава 4. Снова в Сталинграде

1 октября 1943 года отца вместе с группой других рабочих откомандировали в Сталинград. Из Свердловска мы снова ехали в товарных вагонах. На место прибыли 26 октября. Отец сразу же приступил к работе на уже знакомом ему заводе (№264). Теперь мы жили в самой южной части Сталинграда – Красноармейском районе, в одном из 24-комнатных барачков. Здесь, после более чем двухлетних путевых неудобств и испытаний, началась, наконец, наша оседлая жизнь.

Жильё наше находилось довольно далеко от центра района – на склоне Ергенинских возвышений – бывших когда-то, как я узнал впоследствии, берегом древнего моря.

Барачки представляли собой удлинённые одноэтажные деревянные строения с двускатными крышами, покрытыми талью. В строение можно было подняться по правому или левому крыльцу, а затем – через небольшую прихожую – в коридор, по обеим сторонам которого располагались комнаты площадью по 22 кв. метра. В каждой из них было электрическое освещение и радиоточка, а также дровяная печь, топившаяся иногда и углем, если его удавалось достать. С нами была и электрическая плитка, о которой я уже рассказывал.

Водоразборная колонка располагалась на некотором отдалении от барака. Носить ведра с водой приходилось в горку, что особенно трудно было делать зимой, когда на тропинке постоянно образовывалась наледь, и она становилась очень скользкой. Особенно опасно было ходить за водой в январе 1948 года, когда на бесснежную землю неожиданно обрушился сильный дождь, и сразу после этого ударил мороз. Подобной картины мне никогда больше не доводилось видеть! На местных склонах не только воду носить, но и просто ходить было невозможно. Все прямо у барака садились на мягкое место и скатывались вниз, пытаясь хоть как-то управлять спуском с помощью ног и рук. Хорошо, что вскоре днём стало заметно теплеть, и обратно можно было добираться без особого труда. Вообще же, местный климат не раз удивлял нас и в последующем. Лето здесь было жарким, а зимой мороз доходил порой до 40 градусов: в один из таких дней я видел, как вылетевший из-под крыши дома воробей через несколько секунд камнем упал на землю. Неприятности случались и в ветреные дни, когда даже 15-градусный мороз было очень тяжело переносить. Однажды я испытал это на себе, вынужденный, при всей своей стеснительности, зайти по пути со школы в первый попавшийся дом и отогреться в какой-то квартире. Я нередко мёрз и из-за отсутствия тёплой одежды: года два, например, я ходил в заграничной шинели какого-то грязно-фиолетового цвета, переданной нам в рамках американской помощи.

Трудности зимних месяцев с избытком компенсировались весенними днями. Я воспринимал это время года, что называется, всеми фибрами души. Мимо барака бежали многочисленные ручьи, на которых мы любили устраивать запруды, пускали в образовавшихся лужах бумажные кораблики, а потом наблюдали, как эти запруды размывались быстро накапливавшейся водой. Повсюду слышались бодрые птичьи голоса, нахально сустились чуть ли не под ногами прохожих стайки воробьёв, то ищущих какое-то пропитание, то вдруг с шумом взмывающих вверх.

Очень любил я наблюдать за стрекозами. Каких только видов этих удивительно красивых насекомых здесь не встречалось! Они отличались и по размеру, и по строению, и по окраске, но мне больше всего нравились изящные, с зелёно-голубыми тельцами, необычно тонкие стрекозы, подолгу сидящие совершенно неподвижно на какой-нибудь травинке или колоске. Иногда даже не верилось, что это земные существа: так они отличались от других сородичей!

Самое же главное впечатление осталось от запахов, рождавшихся весенними переменами. Я постоянно ощущал их, с удовольствием вдыхая молодой животворящий воздух. Нигде потом я не встречал такой весны – ни в Горьком, где учился в институте, ни на Урале, где довелось позднее жить и работать.

Метрах в двадцати от нашего барака, ниже по склону, мрачным коричневым прямоугольником выделялась общественная уборная, с крупными буквами «М» и «Ж», сделанная из толстого листового железа и не освещаемая ни одной лампочкой. По этой причине в ночное время малую нужду люди чаще всего справляли дома – в ведро, заполненное частично водой. Фекалии из уборной периодически откачивались через гофрированный шланг в большую бочкообразную ёмкость старенькой водовозки, приспособленной для этих целей. Пожилой ассенизатор, не склонный к какому-либо общению с любопытной детворой, не считал выполняемую работу зазорной, полагая, что делает необходимое для всех дело. Несколько ругательских слов он произносил лишь тогда, когда в шланге застревала утопленная кем-то кошка.

Через несколько недель после приезда в Сталинград в нашей семье обсуждался вопрос о моём поступлении в школу, хотя прошло уже почти 2 месяца после 1 сентября. Как и родители, я склонялся к тому, чтобы начать учёбу, но в школе сказали, что нарушать правила они не могут, тем более что 1 сентября мне ещё не было семи лет. У меня осталось ощущение, что при большей настойчивости со стороны моей матери директора школы можно было переубедить. В конце концов, решили, что, может быть, не стоило и торопиться: после эвакуационных передышек и трудностей я не успел окрепнуть и предстоящий год отдыха пойдет мне только на пользу.

Весной 1944 года поблизости от нашего места жительства начал строиться Красноармейский мясокомбинат, что было весьма значимым событием для жителей ближайшей округи, особенно, для безработных и малообеспеченных. Хотя и не сразу, повезло и нашей семье: в конце декабря мама начала работать на комбинате. Произошло это благодаря бабушке Лизе. Она пошла к главному инженеру предприятия Ерёмину (по словам матери, он оказался очень добродушным, хорошим человеком) и попросила устроить её невестку на работу. С «легкой руки» свекрови маму взяли на должность секретаря-машинистки – без прохождения курсовой подготовки (проработала она на комбинате 28 лет – вплоть до выхода на пенсию).

Судя по тому, как мало отец бывал дома, напряжение на заводе не спадало. Каждый день рано утром всю округу будил долгий надоедливый гудок. Спустя какое-то время немногочисленные улицы заполнялись рабочими первой смены, продолжительность которой для отца чаще всего значительно превышала установленное время. Нередко вызывали его и ночью: в таких случаях за ним присылали кого-либо с работы. Днём отец бывал дома очень редко. Но и в это время, как и в первую Сталинградскую эвакуацию, он умудрялся иногда заниматься различными поделками – в основном на продажу. А однажды, как рассказывала мне позднее мать, к отцу обратился начальник цеха с просьбой «довести до ума» давно вышедшее из строя охотничье ружье. Этот заказ отец выполнял, конечно, на производстве, потратив на него немало времени. Ему удалось отремонтировать или изготовить вновь большинство деталей ружья, кроме ствола, который оказался исправным. Труднее дело шло с сильно изношенным затвором. Для его изготовления требовалась специальная сталь, которую почти невозможно было найти на заводе. Работа затягивалась, начальник же цеха стал поторапливать, считая, что нужные детали можно сделать из более простой стали.

Чем закончилось это малоприятное для отца дело, я не знаю: возможно, ружье так и не было до конца восстановлено.

Зима 1943—44 года оказалась холодной, и одной из главных забот для мужчин, а порой и подростков, была добыча топлива для печек. Некоторые доставали где-то уголь, однако при длительном его использовании колосники могли выйти из строя, поэтому нужны были, главным образом, дрова, которые в то время не столько покупали, сколько «добывали» где придется – порой и там, где они «плохо лежали». Заготовка происходила в основном малыми порциями, редко кому удавалось сделать более солидные запасы. Отличился однажды и мой отец. Ничего не объяснив нам, он отправился в Чапурниковскую балку, вернувшись оттуда лишь через пару часов. Обхватив конец ствола старого дерева с уже засохшей кроной, он волок его по земле, упорно преодолевая неблизкий путь. Увидев его, я пожалел, что в этот момент на улице не оказалось никого из наших соседей. Я был удивлен, как мог отец вытащить такой груз из довольно глубокой балки, подумав не без гордости, что вряд ли ещё кто-нибудь из мужчин нашего барака смог бы с этим справиться.

Мне почему-то кажется, что тот случай не прошёл для меня бесследно. Отец, похоже, был не только физически крепким, но и достаточно честолюбивым и упорным человеком, не допускавшим ни малейших недочетов или огрехов в любом деле. Наверное, не без влияния этой черты его характера я в своей жизни стремился, как правило, к достижению наилучшего результата, даже тогда, когда в этом, возможно, и не было особой необходимости.

В июне 1944 года отца перевели на заводскую электрическую подстанцию. По-существу ему одному было доверено обеспечивать её бесперебойную работу. Возможно, у него был какой-то помощник, но когда мы с мамой приносили отцу обед, на подстанции никого больше не встречали, никто нас не останавливал и перед входом в эту зону. Несмотря на большой опыт работы с электрическими установками, на подстанции оказалось незнакомое для отца оборудование, и ему пришлось самостоятельно пополнять свои знания. Хорошо помню, что в это время у него появилась объемистая книга профессора Фролова «Электротехника сильных токов» – в довольно изношенном сером картонном переплете, напечатанная на грубой шероховатой бумаге. Книга была старая, но шрифт и особенно рисунки были очень чёткими и наглядными. Этим пособием я иногда пользовался, когда учился в техникуме.

Как и прежде, бабушка Лиза во всём помогала нам. Она сумела сойтись с работниками местного магазина, шила им или ремонтировала теплую одежду, за что ей часто продавали хлеб и другие продукты без карточек, что сильно облегчало наше существование. В августе 1944 года бабушка, посчитав, вероятно, что жизнь наша наладилась, уехала к дочери Зине, в Касторное.

В Красноармейском районе ко времени нашего приезда следов военных событий заметно не было, хотя, начиная с 1942 года, немцы сбрасывали бомбы на сам Красноармейский посёлок, на станцию Сарепта, пристань и затон. Совсем другое зрелище представлял собой Сталинград. Первый раз я вместе с несколькими ребятами и сопровождавшим нас мужчиной из барака побывал в нём весной 1945 года. Непривычная нашему глазу панорама разрушенных зданий ошеломляла. Тут и там зияли сквозными проёмами остовы кирпичных домов, в том числе, по-видимому, красивого когда-то центрального универмага, в подвале которого располагалась до разгрома немцев ставка Паулюса. Мы спустились вниз и увидели унылую картину: голые стены, колонны с отбитой штукатуркой, на сером каменном полу кучи мусора. Через пустые оконные проёмы первого этажа просматривалась уже приве-

дённая в порядок площадь Павших Бойцов. По городу, представленному преимущественно одной улицей, мы не ходили. На вокзал возвращались молча: разговаривать ни о чем не хотелось.

Позднее я приезжал в город еще несколько раз и замечал, как быстро он восстанавливался. В прежнем виде сохранялось как памятник солдатской славы только одно здание – бывший 4-х этажный жилой дом, названный в честь одного из его героических защитников «Домом Павлова».

Навсегда отложились в сердце ещё одна примета недавней войны – обстановка в пригородных поездах. Почти на каждой станции в вагоны заходили просящие милостыню, чаще парами – худой мужчина или женщина (как правило, слепые по виду) и девочка или мальчик-подросток с котомкой через плечо. Войдя в вагон, они тут же начинали петь жалостливые песни, прерываемые просьбами ребёнка о милостыне. Сердобольные всегда находились. Появлялись и одинокие просители, тоже незрячие, с палкой вместо трости, которой они ощупывали границы прохода. Были и более дееспособные старцы, певшие под гармошку бравшие за душу песни, больше похожие на тюремные. Однако, среди слепцов, как иногда выяснялось, попадались и ловкие имитаторы.

На центральном вокзале, и на отдельных станциях я несколько раз встречал также моложавых женщин с привлекательной внешностью, неплохо одетых, которые добывали деньги другим способом. Женщина обращалась к прохожим с просьбой оказать посильную помощь, так как её недавно обокрали, оставив без копейки, и ей теперь невозможно добраться домой. Эти были настоящие артистки, зачастую им трудно было не поверить, и поэтому всегда находились люди, дававшие им какие-то деньги. Просительница чуть не со слезами благодарила их, желала им всяческого благополучия и божьих милостей. Но я уже знал, что это ловкие обманщицы, поскольку за неделю до этого заметил как-то одну из прежних «знакомых» на другой станции.

Особую категорию инвалидов представляли безногие, с короткими культями, но крепкие физически мужики, потерявшие свои конечности на войне. В первый раз на них тяжело было смотреть, и я старался поскорее отвести от них взгляд. Таких инвалидов было немного, и они хорошо знали друг друга. Средствами их передвижения были дощатые прямоугольные платформы, оснащенные четырьмя шариковыми подшипниками. В руках у них были дощечки с приклеенной снизу резиной, оснащенные деревянными ручками. Ими они отталкивались, придавая сиденью нужное направление. В вагоны их кто-нибудь заносил. Медленно катясь по проходу, они ни к кому не обращались, но им почти всегда клали в карманы мелкие деньги. Иногда они делали перерыв, спускаясь на избранную ими станционную платформу. Однажды я случайно оказался свидетелем, как они сбрасывались на водку. Их никто не осуждал, так же как никто и не жалел вслух, понимая, что такое сочувствие им не нужно...

## **Глава 5. Семья Антоненко и соседи по бараку. Смерть отца**

Бытовые условия нашей жизни с отъездом бабушки несколько улучшились, но, как оказалось, ненадолго. Вскоре к нам подселилась семья Антоненко: дядя Павел, тётя Маруся и их сын Петька, очень похожий на отца – высокого, сухощавого мужчину с глубоко посаженными светло-голубыми глазами. До этого я ничего о них не слышал, но вспоминаю, что сошлись наши семьи благодаря тётке Марусе, случайно познакомившейся где-то с моей матерью. Они откуда-то приехали, и не имели ни жилья, ни знакомых. Видя отчаянное положение этих людей, родители мои дали согласие на их подселение к нам. В одной комнате нас сразу оказалось 6 человек. Дядя Павел вскоре устроился на судовой верфь, притащил откуда-то металлическую панцирную кровать, и, хорошо владея столярным мастерством, сделал пару табуреток и небольшой обеденный стол. Совместное наше проживание облегчалось, отчасти, тем, что мужчины основную часть суток проводили на работе. Кроме того, в отличие от малоразговорчивого дяди Павла, тётя Маруся оказалась женщиной удивительно открытой и доброжелательной, всегда готовой прийти на помощь моей маме в любом, даже малозначительном деле. Сейчас я могу с полной убежденностью сказать, что столь простодушных и отзывчивых людей я никогда потом не встречал.

Чрезмерная теснота сказывалась, всё-таки, на общем настроении. Тяжелее женщин переносили неудобства мужчины. Они, как и их жены, были молоды, а возможностей для нормальной супружеской жизни не было никаких. Спустя некоторое время тётя Маруся, которая была, видимо, при переезде к нам уже беременной, родила второго ребёнка. Это оказалась девочка, которую назвали Наташей. Жизнь наша стала ещё более трудной, но все как-то мирились с этим. Родители мои стойко переносили все перипетии судьбы ещё и потому, что знали, что дядя Павел уже строил дом. Где он «добывал» необходимые материалы, было неизвестно, но тогда все как-то «выкручивались», выживая каждый по-своему, кто как мог.

Я замечал, что дядя Павел очень переживал, что они нас стесняют, и потому не терял времени. Постоянное напряжение и отсутствие возможности хотя бы краткого отдыха, заметно сказывались на нём. Он ещё больше похудел, щеки его ввалились, глаза под мохнатыми белесыми бровями смотрели на окружающий мир без проблесков радости, скрывая в своих светлых глубинах выпавшие на его долю житейские тяготы. Понимал, конечно, это и мой отец, но не позволял себе даже намёком выразить какое-либо недовольство.

Первые месяцы жизни в Сталинграде запомнились чувством постоянного голода: желудки наши часто страдали без нормальной пищи. Неважно питались и рабочие в заводских столовых. Постоянное недоедание особенно остро ощущали подростки, которые, несмотря ни на что, тратили много энергии на подвижные уличные затеи. Я помню, как однажды на нашей любимой завалинке – с левой стороны барака – мы с ребятами мечтали хотя бы раз наесться досыта. Я сказал тогда, что если бы мне пообещали буханку хлеба, я бы добежал до затона – это более чем в 2 км – за 10 минут. Вряд ли кто-то верил, что мне удалась бы такая прыть, но мечта о еде была столь сильной, что все промолчали.

Иногда мы находили неглубоко от поверхности песчаной почвы длинные очень сладкие корни солодки. Они, конечно, не могли заменить настоящую пищу, но на какое-то время ослабляли чувство голода.

Рядом с бараком росли довольно высокие белесые кусты маслин (так, по крайней мере, их называли), веретенообразные, сладкие, хотя и мелкие плоды которых мы очень любили.

Сейчас бы я сказал, что листья этих растений по форме походили на листья облепихи, но были длиннее и гораздо светлее, словно серебристые – особенно с нижней стороны.

Нравились многим и синеватые, будто слегка припудренные, сладкие в спелом виде, но почти всегда терпкие, ягоды тёрна, которые попадались в Чапурниковской балке. Деревца тёрна, больше похожие на крупные кусты, были обильно оснащены длинными колючками, оставлявшими на руках очень болезненные царапины. Из-за этого многие отказывались от такой добычи, но меня эти неприятности не останавливали.

В южную сторону балка углублялась и значительно увеличивалась по ширине; здесь попадались и дубовые рощицы с отдельными довольно крупными деревьями. Мы срывали с веток жёлуди или подбирали их с земли, а дома, поджарив на сковородке, употребляли в пищу, хотя особого аппетита они не вызывали.

Куда более привлекательной добычей были суслики, которых добывали, заливая воду в их норы (обычно до двух вёдер) некоторые ребята и мужчины, но я таким промыслом не занимался.

Несколько позднее мы стали добывать макуху: так назывался жмых, остающийся после отжима масла из горчицы. Обломки плотных плиток были горьковатыми и довольно трудно поддавались зубам, но очень всем нравились, и, хотя со временем начинали надоедать, мы всегда радовались такому «лакомству».

Кажется, в конце лета 1944 года, зайдя необычно далеко от барачков, мы с ребятами неожиданно увидели довольно высокое ограждение из колючей проволоки, за которой виднелись какие-то строения. Проходящий мимо нас мужчина пояснил, что это лагерь военнопленных, который появился тут в конце 1943 года. Явно не расположенный к общению с нами, он сказал только, что «эти фашисты» используются на разных работах – в том числе, на ремонте подбитых немецких танков на судовой верфи. Вернувшись домой, я спросил про лагерь у всезнающего соседа по бараку Вовки Безбожного. Обычно весьма словоохотливый, он лишь чертыхнулся. Похоже, толком он ничего не знал, однако с необычной для него злостью процедил, что этих сволочей кормят лучше, чем наших заводских рабочих. Так ли это было на самом деле, никто из барака не ведал, но дядя Павел уверял, что это правда. И мы, мальчишки, и взрослые чурались подходить близко к этому месту, но после одного неожиданного для нас события, стали посмелее.

В один из воскресных дней мы вдруг услышали красивую музыку со стороны лагеря, и, подойдя к ограждению, увидели поблизости от него небольшой инструментальный оркестр из пленных. Расположившись на пригорке, мы с какими-то противоречивыми чувствами, и в то же время с удовольствием слушали слаженное звучание незнакомых нам инструментов. Концерты повторялись почти регулярно, и их порой посещали даже некоторые взрослые, хотя и не скрывали неприязни к бывшим оккупантам. Такие настроения подогревались и слухами о том, что практичные немцы, когда умирал кто-то из обладателей золотых корон, обязательно их выбивали – не пропадать же добру! Нам было противно осознавать, что они способны на такое, тем не менее, почти профессиональное исполнение музыкальных произведений вызывало уважение, невольно отзываясь добрым откликом в наших сердцах.

Через много лет, когда я уже занимался этими воспоминаниями, я решил поискать в интернете какую-либо информацию об этом лагере и обнаружил воспоминания одного из бывших его заключённых. Таким человеком оказался Фритце Клаус. Он находился в Красноармейском Лагерьном отделении (108—1) – с 1943 по апрель 1944 года. В книге «Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой», написанной автором в 75-летнем возрасте, условия, в которых пребывали там немцы, предстают в несколько ином виде. Весьма скудная еда, голод, вши и клопы причиняли пленным постоянные страдания, приводили к развитию различных заболеваний, в результате чего для части немцев красноармейская земля

стала последним пристанищем. И всё-таки, как рассказывает автор, условия жизни пленных после проведенного в начале 1944 года комиссионного обследования и замены руководства лагерного отделения стали заметно улучшаться. Дистрофики перестали водить на работу, организовали для них специальную оздоровительную зону. Улучшилось и питание – в первую очередь специалистов, работающих на рембазе судоверфи. А наиболее стойкие духом, решившие бороться с депрессивными настроениями, стали заниматься простейшими общественными делами, физкультурой и художественной самодеятельностью. Сам Клаус возобновил изучение русского языка, который начал осваивать в предыдущем месте своего пребывания – под Астраханью. Автор упоминает лишь о переданной немцам гитаре, инструментальный ансамбль, который нам довелось услышать, появился позднее...

Несмотря на трудное время, наша жизнь постепенно налаживалась. С устройством мамы на мясокомбинате, разместившемся поблизости от нашего барака, мы почувствовали себя более уверенно. Хотя зарплата у неё была, как и у всех, небольшой, ей, как сотруднице комбината, разрешали покупать подешевле некоторые субпродукты, среди которых особенно вкусной была трешка. Бесплатно можно было взять во время забоя скота какое-то количество крови, которая быстро свертывалась на горячей сковородке и употреблялась нами в качестве блинов. Кровь приносил в чистом оцинкованном ведре кто-нибудь из «бойцов» – забойщиков животных. Хранить её было нельзя, поэтому избытки мама отдавала соседям. Однако такая пища быстро приедалась, и мы вскоре от неё отказались.

Спустя два-три года, на мясокомбинате, как и на других предприятиях, занялись бахчеводством. Выделенная земля располагалась на плоскогорье, недалеко от Чапурниковской балки. Здешний климат оказался подходящим, и в первый же год случился хороший урожай, в составе плодов которого преобладали арбузы. Кроме того, уродилось и немало дынь – в основном двух сортов: «дубровка» и «колхозница». Небольшие, круглые, с тонкой шкуркой, ярко желтые «колхозницы» отличались медовой сладостью и пользовались у всех особой любовью. В несколько меньшем количестве сажали тыквы. По окраинам бахчей буйно росла кукуруза, варёные початки которой мы очень любили есть с солью. Арбузы продавались у конторы мясокомбината по 10 копеек за килограмм, а для работников комбината – всего по 3 копейки! Я помню, что мы как-то сразу купили с десяток арбузов, один из которых весил 9 килограммов, разместив их под кроватью. Пролежали они там, однако, не долго, так как потребляли мы их столько, сколько позволяли возможности наших желудков. Эта была настоящая объедаловка!

Иногда на комбинат привозили из Камышина темно-зелёные арбузы сорта «Красная роза» (так, по крайней мере, их называли). Они были поменьше размером, но остались в памяти на всю жизнь. Стоило было только слегка вонзить в их тонкую корку нож, как они с хрустом распадались на кроваво-красные половинки с мелкими черными семечками. Их вкус описать невозможно: он был поистине волшебным! Жалко, что такие арбузы редко появлялись на прилавках. В целом же бахча, которую охранял всего один сторож, живший прямо на поле в шалаше, стала хорошим подспорьем в питании семей работников комбината. Через несколько лет этот общий «огород» почему-то прекратил своё существование, но вскоре каждому, кто этого желал, стали выделять землю в пригородном хозяйстве. Мама оказалась в числе таких пайщиков.

На нашем участке выращивались в основном тыквы – очень полезное дополнение к нашему однообразному столу. Сначала мама сама справлялась со всеми заботами, но потом стала привлекать и меня – прежде всего к сбору урожая и доставке его домой. Это было нелегко, так как путь до бахчи был долгим. Каждый из нас мог нести не более двух тыкв. Мы клали их в мешок, завязывали его и, уложив средней его частью на плечо, приносили



домой. Такие ходки приходилось повторять порой по несколько раз, и я всегда удивлялся упорству матери и способности переносить такие нагрузки. Меня же очень тяготил этот рабский труд, и я полагал, что, наверное, можно было бы как-то решить вопрос с транспортом через руководство мясокомбината, но мама предпочитала никого не тревожить. Мое негативное отношение к этим мытарствам заканчивалось, однако, после первой же миски великолепной тыквенной каши, которую мама умела готовить, наверное, как никто другой. Каша была хороша и из одной тыквы, но особенно вкусной она оказывалась с добавлением небольшого количества пшена.

Появление Красноармейского мясокомбината людям смекалистым и рисковым позволило извлечь немалые выгоды. Мясопродукты, несмотря на систему обысков всех выходящих с территории предприятия, регулярно воровались (как тогда говорили, «выносились»). Наиболее дерзкие работники делали это не только для себя, но и для продажи. Через полтора – два года у многих появились дополнительные деньги, и вокруг началось строительство частных домов. Предпринимаемые руководством комбината меры по латанию вновь и вновь появляющихся дыр в железобетонном заборе и заделке подкопов под ним не давали должного результата. А в одну из осенних ночей мясокомбинат был обворован какой-то бандой. Как потом рассказывали, неизвестные «предприниматели» связали сторожа и вывезли изрядное количество мяса на бортовой машине. Говорили, что это были не местные, и, несмотря на все усилия, найти их не удалось. Подобных ЧП больше не случалось, хотя мелкие кражи продолжались.

Отец был сильно загружен по работе, очень уставал, и на меня у него просто не хватало времени. Невольно, еще с эвакуационных мытарств, я стал привыкать к такому положению. Иногда, правда, я думал, что после окончания войны мы снова переедем в Мариуполь, и у отца появится больше времени. Однако совершенно неожиданно в нашей жизни все изменилось: *9 сентября 1944 года отца не стало.*

В конце августа у него заболел зуб. К врачу он не пошёл, надеясь, видимо, что всё пройдет и так. Но боль усиливалась, отец практически перестал спать, правая щека у него опухла, а затем и пожелтела. Иногда я, проснувшись ночью, видел его прислонившимся к стене или шагавшим с приглушенным стоном то в одну, то в другую сторону. И даже в эти дни его вызывали порой на какое-то экстренное дело в ночную смену. Мама говорила ему, что надо срочно идти к врачу, но отец тянул до последнего. Когда же, вконец обессиленный от боли и бессонных ночей, он пошёл в поликлинику, врач сказал, что удалять зуб поздно. Отец написал расписку, что всю ответственность за последствия берёт на себя. Вскоре после удаления зуба состояние отца резко ухудшилось, и его положили в больницу. Мама поехала по чьему-то совету в Бекетовку, привезла врача, оказавшегося отоларингологом (попроще – «ухо-горло-нос»), заплатив ему за визит 300 рублей, но деньги не помогли. Через 9 дней после удаления зуба отец скончался от заражения крови. Перед этим его, почти уже не реагирующего на окружающее, привезли домой. Как-то я сидел рядом с кроватью и вдруг заметил, что отец затих, и у него изо рта пошла тёмная густая кровь.

Врач сказал потом маме, что если бы у них был пенициллин, то его бы спасли. Папе в это время не было ещё и 30 лет...

Несмотря на столь тяжкую утрату, проводы отца в последний путь оказались почему-то будничными, без слёз и причитаний. Гроб сделал дядя Павел, помогали в похоронах тётя Маруся, несколько мужчин с завода и женщины из барака. Смерть отца почему-то меня не потрясла: скупая на чувства, не успевшая ещё должным образом развиваться, моя душа

подавала лишь слабые сигналы тревоги. Всё происходило как будто не по правде, как во сне. Непонятным казалось мне отсутствие слёз у мамы – скорее всего, постигшее горе она пережила в предыдущие дни.

Место захоронения выделили почему-то не на районном кладбище, а на склоне Ергенинского нагорья, немного выше начинавшейся недалеко от бараков частной жилой застройки. Поблизости уже было несколько могил, и мы подумали, что этими захоронениями открывалось новое кладбище. Грунт оказался песчаным и часто осыпался при копке. На могиле установили сваренный из стальных труб и покрытый черным лаком крест, прикрепив к нему проволокой жестяную пластинку с надписью фамилии, имени и отчества отца. Елизавета Васильевна, жившая в то время в Касторном, не смогла приехать на похороны сына: от потрясшего её известия у неё резко поднялась температура и развилась фолликулярная ангина.

Мы несколько раз посещали могилу, и однажды обнаружили крест сильно погнутым, а в последний наш приход, после долгого перерыва, он вообще исчез. Не знаю, обращалась ли мама на завод с просьбой о восстановлении этого скромного памятника, но могила так и осталась «обезглавленной».

Я не запомнил, когда переехала в свой дом семья Антоненко, но к тому времени бедовая Наташка уже не только быстро ползала по полу и умела сидеть, но и стремилась, цепляясь за что-либо, вставать на ноги. Одна из таких попыток могла окончиться плачевно. Мы неожиданно услышали её отчаянные вопли, но тётя Маруся не сразу сообразила, что случилось. Определив, наконец, что крики раздаются из-под стола, она ахнула, увидев торчащие из выварочного бака Наташкины ноги. Тётя Маруся страшно испугалась, уверенная в том, что дочь повредила шею, но, к счастью, всё обошлось.

Спустя годы, в 1975 году, мы, жившие уже на Урале, ездили на своей машине всей семьёй в Мариуполь и на обратном пути побывали у Антоненко. Все, кроме умершего за несколько лет до этого дяди Павла, оказались дома: тётя Маруся и дети – Наташа и Петя. При их простом по виду, но очень удобном, доме располагался небольшой сад, заложенный ещё с участием главы семейства. Как и на территории, где прежде были бараки, поблизости от дома Антоненко появилось несколько улиц. Давние наши знакомые жили не богато, но были, кажется, довольны тем, что имели. Время и постоянные заботы не пощадили тётю Марусю, но глаза её светились прежней добротой. Для Наташи я был, конечно, незнакомым человеком, Петя же, хотя и не сразу, вспомнил меня, но особых эмоций не проявил.

Поездка к Антоненко была связана не только с желанием встретиться со старыми знакомыми. Главное, что мне хотелось, – попытаться разыскать могилу отца. К сожалению, мы не нашли никаких признаков начинавшихся когда-то захоронений: это место давно уже было застроено...

Кроме почти родных для нас тётки Маруси и дяди Павла я постепенно познакомился и с другими соседями по бараку. Вспоминается, прежде всего, семья Болотовых. Она состояла из четырёх человек: довольно немолодых, как мне казалось, супругов и двух дочерей. Хотя старшие Болотовы вели замкнутый образ жизни, их знали все, так как в каждую получку они дружно напивались и нередко устраивали шумные «разборки». Дочери их в наиболее бурные моменты уходили куда-нибудь, возвращаясь тогда, когда изнуренные перепалками, а то и дракой родители теряли запал и оказывались в горизонтальном положении. Я не раз слышал разговоры взрослых, осуждавших поведение Болотовых, но никто не верил, что этих людей можно как-то образумить. Всякий раз выражалось также недоумение, как живёт эта семья, пропивающая почти все средства к существованию. Это было

загадкой. Между тем, дочери, также почти не общавшиеся с соседями, вели себя скромно и не вызывали никаких нареканий. Младшая из них, Маша, была года на два старше меня и вначале мало меня интересовала. Перемена произошла позднее, когда я учился 6-м классе. Я как-то вдруг почувствовал, что при встречах с Машей Болотовой – почти всегда в простом белом платье, плотно обтягивающем её быстро развившуюся фигуру, во мне пробуждается неведомое ранее волнение, острое желание прижаться к ней и крепко-крепко обнять. Испытывая к ней сильное влечение, я переживал, что она как-будто совершенно не замечала меня. Тогда я ещё не понимал, что такое моё состояние было вызвано началом полового созревания: природа брала своё, и с этим ничего нельзя было поделать. Преследуемый её физическим обаянием, я с трудом гасил свои «грешные» мысли. Проклинаю свою слабость, я решил закалять свой характер. Некоторое время старался избегать встреч с Машей, но добиться этого не удавалось, тем более что наши комнаты располагались почти рядом. И тогда я придумал для себя испытание. Будучи как-то дома один, зажёл свечу и поднес пламя к запястью левой руки. Испытывая сильную боль, я изо всех сил продолжал добровольное истязание своей плоти, пока не получил довольно серьёзного ожога. Я был горд, что проявил такую выдержку, но и после этого в моём отношении к Маше ничего не изменилось.

Мои страдания продолжались, однако, не так долго: совершенно неожиданно, ничего никому не сказав, Болотовы куда-то уехали. Далеко не сразу я вернулся в «нормальное» состояние, но совсем забыть столь сильно волновавшую меня соседку так и не смог...

Поблизости от нашей комнаты жили муж и жена Апаршины, из казаков. Они были самыми старшими в бараке и нелюдимыми. Не навязывались на общение с ними и соседи, однако с некоторого времени я понял, что они не такие уж и суровые. В нескольких случаях я оказывался в поле их внимания, они задавали какие-то вопросы, интересовались, чем я занимаюсь, почему не хожу в школу. А однажды они удивили всех своими гостями – видимо, их знакомыми по старому месту жительства. Крепко выпив, собравшиеся вышли в коридор и, охвативши друг друга руками за плечи, образовали что-то вроде хоровода, и стали громко петь казачьи песни, шагая в тесном вытянутом кольце то в одну, то в другую сторону. Пели казаки с каким-то отрешённым видом, не обращая ни малейшего внимания на коридорных зевак. Песни были однообразными и по мелодии, и по манере исполнения, но особенно раздражала их продолжительность. Такие встречи у Апаршиных бывали, однако, редкими и не очень нарушали привычную для всех атмосферу.

Какие-то особые чувства я и мои друзья-ровесники испытывали к Володе Безбожнову. Он был заметно старше нас, но его неизменно благодушное настроение и необыкновенная общительность притягивали к нему не только нас, но и некоторых женщин, в том числе и пожилых. Вовка (так мы его всегда звали) был большим балагуром, и от него можно было узнать немало различных историй и рассказов о забавных случаях, приключавшихся с ним самим или со знакомыми ему людьми. А осенью 1945 года у него появился красивый трофейный аккордеон, который он удивительно быстро освоил и часто под нехитрый аккомпанемент пел различные песенки или частушки, усевшись на барачном крыльце. И всё-таки Вовка оставался для нас в чём-то загадочным, мы чувствовали, что он не вполне нам доверяет, оставляя откровенные беседы для более взрослой аудитории. Мы не очень понимали даже, как он живёт, как добывает деньги на пропитание. Знали только, что по осени он всегда отправляется в низовье Волги, в Ахтубу, привозя оттуда по несколько мешков яблок – для еды и продажи.

Все остальные взрослые, жившие в бараке, работали либо на судовой верфи, либо в других местах. Зарплата была недостаточной и тратилась в основном на продукты, среди которых обязательно присутствовало издавна здесь производившееся горчичное масло.

Дней получки ждали обычно с нетерпением и в то же время с некоторым волнением: бывали случаи, когда люди приходили с пустыми карманами. Возвращавшихся с работы в такие вечера нередко поджидали в наиболее малолюдных местах местные «добытчики» и отбирали деньги. Такие случаи особенно участились в 1947 году, когда, как многие говорили, в Сталинград, в том числе и в наш район, стали наезжать ростовские бандиты. Нападения на людей заканчивались порой и убийствами. Среди лишившихся части получки оказались как-то и двое мужчин из нашего барака. Одному из них несколько позднее довелось снова попасть в подобную ситуацию, но благодаря проявленной им смекалке деньги осталась при нём. В тот лунный вечер он не опасался нападения, но когда переходил располагавшийся недалеко от барака овраг, столкнулся с угрюмым громилой. Оттолкнув его, мужчина выхватил из кармана заранее приготовленную алюминиевую суповую ложку, направив её ручку в сторону нападавшего. Блеснувший в лунном свете предмет бандит принял за нож и предпочел ретироваться. Довольно уже немолодой сосед по бараку стал на какое-то время местным героем.

Примерно в тот же период переживания внезапно «обчищенного» человека пришлось испытать и мне. Мы с ребятами часто ходили в кинотеатр «Культармеец», располагавшийся в центре Красноармейска. Хотя кино было недорогим, местные хулиганистые подростки, пристроившись у кассы, нередко вырывали у ребят помоложе купленные ими билеты. Так было раза два и со мной, когда я оказывался один, без сверстников. Помню, как однажды, ослеплённый злостью, я бросился за моим обидчиком, убегавшим к проходу в зал, но меня резко отдернули его напарники, открыто пригрозив расправой. С большим трудом я сдержал себя, понимая, что «эти» слов на ветер не бросают. Вскоре всё повторилось, и некоторое время я не ходил в кино. Возобновил я походы в кинотеатр только вместе с ребятами: в таких случаях с нами предпочитали не связываться.

Проходя по главной улице, ведущей к центру посёлка, и болтая о своих делах, мы почти не обращали внимания на постоянно встречающуюся нам наглядную агитацию, но однажды заметили что-то новое и остановились. На крупном, окрашенном в неяркий белый цвет, фанерном щите было написано красными буквами: *«Мы живем в такое время, когда все дороги ведут к коммунизму»*. Внизу, с правой стороны, четко выделялась фамилия автора этого утверждения – **В. М. Молотов**. Красивая фраза ободряла, мы были согласны с автором, хотя и не представляли, какой пост он занимает.

## Глава 6. Игры и забавы

Вскоре после нашего приезда в Сталинград меня потянуло на улицу, к сверстникам. Вместе с ними, как в дошкольный период, так и потом, во время учёбы, я часто отдавался разнообразным развлечениям, среди которых были как довольно немудрёные, так и достаточно интересные. В первое время их было немного, но с мая 1944 года, с наступлением по-настоящему тёплых дней, главной нашей страстью стал *футбол*. Играли мы на песчаной площадке, располагавшейся поблизости от барака, босиком и порой больно сбивали пальцы о попадавшие в песок камешки. Футбольный мяч делали в виде плотного клубка из тряпок, и хватало нам его всего на несколько раз. На мягком песке обрабатывать мяч было очень приятно, но игра требовала немалых физических затрат. Баталии наши нередко велись до изнеможения, но доставляли настоящую радость. Позднее мы познакомились и с настоящим футбольным мячом. Играть в него босиком было почти невозможно: удары по жесткой шнуровке, затягивающей кожаную покрывку после накачки камеры, были весьма болезненными.

Многие из нас с удовольствием гоняли с помощью *проволочного «водила»* обручи из-под бочек, но чаще – гораздо более удобные плоские металлические кольца диаметром примерно с полметра, а иногда и больше. Медленно катить колесо было невозможно, поэтому, увлекая его вперёд, приходилось бежать, делая повороты при помощи боковых участков крюка. Достать такое кольцо было не просто: оно должно было быть достаточно легким и иметь ровную и гладкую наружную поверхность.

Но особенно мы увлекались *самокатами*, которые мастерили, в основном, сами. Устройство это состояло из двух досок: одна из них, более широкая, на двух шариковых подшипниках – переднем и заднем – располагалась горизонтально и служила опорой для ног. Вторая доска, с более крупным подшипником в прорези на нижнем её конце и поперечной ручкой наверху, соединялась на шарнире с нижней и могла поворачиваться вправо и влево на вертикальной оси. Стоя на нижней доске на правой ноге, и отталкиваясь от земли для разгона левой, мы «наматывали» порой по несколько километров. Главной частью самокатов были шариковые подшипники, которые нигде не продавались. «Доставали» их как могли – чаще всего, на заводе, через отцов или знакомых, либо по обмену со сверстниками.

Очень любили мы игру в «чekanку». Суть её была простой: нужно было наибольшее число раз подбросить вверх ударами внутренней стороны стопы мягкий кругляк из козлиной шкурки с прикрепленной снизу свинцовой таблеткой. Шерсть у шкурки выбиралась как можно длиннее и пушистее, чтобы она опускалась более медленно, и успевала попасть на ногу нижней стороной. Если форма и вес груза оказывались подобранными удачно, можно было настолько долго подбрасывать это нехитрое изделие, насколько хватало сил.

Еще больше нам нравилась местная разновидность игры в бабки с использованием коленных костей суставов баранов или овец – *альчиков*. В одной из двух оконечностей «ударного» альчика вырезалось углубление, куда заливался свинец. Альчик с лёгкого конца захватывался большим и указательным пальцами и бросался с резкой подкруткой в горизонтальной плоскости с расстояния в 6 – 8 м в очерченный на земле круг, в центре которого каждый игрок выставлял свой альчик. Игроку надо было выбить за круг одним броском хотя бы один альчик, но так, чтобы свой «биток» остался внутри круга. Вылетевшие за пределы круга альчики забивающий забирал себе. Побеждал тот, кто набирал наибольшее количество «трофеев». Иногда вместо альчиков в центре круга укладывались столбиком монеты (от каждого

играющего по одной). Тот, кому удавалось попасть в сложенные монеты, получал их в качестве выигрыша.

На территории Сталинграда, особенно на склонах Ергеней, было много песка. При сильном ветре он поднимался в воздух и становился для всех серьёзной проблемой. От песчаной пыли невозможно было защититься. Она проникала во все щели, попадала в глаза, уши, за воротник. Такую погоду называли в шутку «сталинградским дождиком» – наверное, потому, что настоящие дожди выпадали здесь редко. Но места естественного выхода песка нам всегда нравились, и в хорошую погоду мы часто проводили время в районе окраин Ергеней.

Собирались мы у самых крутых, почти вертикальных склонов, совершая захватывающие дух прыжки в рассыпчатый, мягкий и очень чистый песок. Затем поднимались снова вверх по более пологому пути, и повторяли увлекательные полёты. С самой высокой крутизны прыгали те, кто был постарше или посмелее, но и для остальных всегда находилось какое-нибудь занятие. Особенно все радовались, когда кому-то после раскопок по песчаным обрывам попадались плитки осадочной глины (а может быть, древнего ила?) толщиной 3 – 5 мм, которые напоминали шоколад, но имели более светлую матовую поверхность. Хотя этот «шоколад» был несладкий, мы часто его сосали, полагая, что он полезен для здоровья.

Развлекаясь на Ергенях, мы очень любили наблюдать за ласточками, в большом количестве гнездившимися на отвесных склонах. Множество этих красивых быстрых птиц было и в районе нашего барака, но они не часто радовали нас своими стремительными полётами. Пожалуй, только перед дождем, охотясь за насекомыми, они вдруг появлялись откуда-то небольшими стайками, будто из озорства вычерчивая над самой землей замысловатые, с резкими изломами траектории. Мне, как и многим, очень нравились эти необычайно ловкие, изящные птицы, и я подолгу любовался ими.

Находясь в полюбившемся месте, мы не задумывались о том, что наши игры на песке могут приносить не только удовольствие, но и серьёзные неприятности. В зависимости от погоды песок здесь бывал разным: чаще сухим и легким, но порой – увлажнённым, что влияло на его «поведение». Мы улавливали эти изменения и во время прыжков, и во время рытья каких-либо углублений в доступных для нас отвесных песчаных склонах. Влажный песок делал приземление после прыжка более жестким, а при подкопах мог неожиданно осесть и мгновенно завалить вырытую нишу. Сталкиваясь с такими случаями, мы рыли обычно неглубокие «норы». Но однажды из-за потери бдительности нескольких увлекшихся подростков произошла настоящая трагедия. Мне было в то время, наверное, лет десять, и я хорошо запомнил тот злополучный день.

Расположившись внизу отвесного участка склона, ребята решили сделать более длинное, чем обычно, углубление в довольно влажной в тот день песчаной стене. Ниша получилась очень привлекательной и такой протяжённой, что в ней можно было свободно расположиться даже взрослому. Я видел это «сооружение», но потом с другими ребятами пошёл прыгать. Спустя какое-то время мы услышали крики. Подбежав к ребятам, мы сначала не могли понять, что произошло, пока не выяснилось, что подкоп в тот момент, когда в нём у задней стенки расположился самый младший из ребят, намертво захлопнула внезапно обвалившаяся толща песка. Мы попытались раскапывать злополучное место, но вскоре убедились в бесполезности наших усилий: оседавший сверху песок не давал никаких шансов на удачу. Так погиб 6-летний Шурик, которого любили и взрослые, и ребята – самый тихий и добрый из нас. У него и мать была очень славной, скромной женщиной.

После этого ужасного случая мы потеряли интерес к Ергенинским пескам. Посещали эти места лишь зимой, катаясь там на *лыжах*. Наиболее смелые спускались с самых крутых

и сложных склонов, развивая весьма высокую скорость. Некоторые, в том числе и я, любили и лыжные пробежки, как правило, на небольшие расстояния, но при этом соревновательный дух был нам не присущ: было неважно, кто оказывался впереди, а кто отстал. Такое благодушие объяснялось ещё и тем, что наш лыжный инвентарь был достаточно примитивным и не позволял развивать приличную скорость. На имевшихся у нас лыжах можно было бегать только на валенках, носки которых плотно вгонялись в прочный брезентовый или кожаный хомут, укрепленный примерно посередине лыжи. Для того чтобы валенок надежно держался на лыже, он привязывался к хомуту через задник прочным шнуром или верёвкой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.